

Неизмеримое пространство между небом и землёй в обыкновенном языке называется воздухом. Это не тонкое эфирное вещество, окружающее землю, а самое пространство, разделяющее два мира, Горний и Дольний. Это пространство наполняют отверженные, падшие ангелы, которых вся деятельность состоит в том, чтобы отклонить человека от спасения, делая его оружием неправды.

Бесы представляют в этом мытарстве злые дела душе, а ангелы – дела добрые. Душа же, вспоминая свою жизнь, сама вершит над собою суд прежде Суда Божественного.

Всё пространство от Земли до Неба представляет двадцать отделений или судилищ, на которых проходящая душа обличается бесами во грехах.

*Монах Митрофан «Как живут наши умершие».*

И последнее, что я скажу тебе, – тебя никто ни к чему не будет принуждать. Всё добровольно. Тебе предлагают, только предлагают, и больше ничего. И ты выбираешь. В зависимости от твоего выбора определится твой дальнейший путь.

Получилось так, что в один период жизни у меня было одновременно два любовника. Первый был режиссёр. Второй – художник. Их имена, точно так же, как это время, я помню смутно. (Потом, позже, как горящие хвосты фейерверков из ракетниц, вырвутся воспоминания. Сейчас они клубятся, не называя себя.) От них обоих осталось только неясное зеленоватое свечение. Возможно – цвет времени года. Это свечение я видела каждый раз, когда встречалась с кем-то из них. Оно исходило от их разговоров, от их прикосновений ко мне и, самое главное, – от них. Только нужно было смотреть не в лица, а сдвигать взгляд в сторону. Совсем немного. Неуловимо. Слегка...

И тут же на удивление четкий мир за ними начинал светиться.

Когда они говорили, я пропускала значение слов. Я делала вид, что внимательно слушаю их, хотя сама прислушивалась к ощущению близости с ними. Мне нравились звуки, из которых состояли слова, и я тут же представляла их на бумаге – буквы цеплялись одна за другую и превращались в свечение.

Их слова были как музыка, исполненная через цвет, и ещё они были их оружием. Они бросали их мне в лицо, как пригоршни песка, когда пытались пробиться ко мне. Я выхватывала их и запоминала. Только эти слова из всего того, что оба они говорили.

Однажды от звуков голоса Первого я вздрогнула, как проснулась.

Стояла сумеречная зима, и в его маленькой комнате горел свет. Я не знала цвета стен в его комнате – от пола до потолка они были заставлены книжными стеллажами из светлого дерева. К его книгам я была совершенно равнодушна – все они, расставленные в том же порядке, встречались мне в каждом доме, куда я приходила той зимой.

Иногда слышалось тихое дребезжание, и маленькие, много раз склеенные чашки с японским чаем подрагивали у него на столе – это проходил трамвай вдоль Чистопрудного бульвара по обледеневшим рельсам.

– Что ты сказал? – переспросила я.

– ...девушка, которую я любил больше всего на свете... – с усилием повторил он и посмотрел на меня.

Что-то в нём вызывало ревность. Голос его казался мягким и безвольным, и такими же безвольными казались его длинные спутанные волосы. Иногда у него даже не было сил откинуть их с лица. От него исходил легкий сладковато-терпкий запах, который я сначала даже не различила и не выделила из всего его облика. Это был запах простого дешевого одеколona, стоявшего в ванной на стеклянной полке перед зеркалом, который смешивался с запахом его кожи и оставлял влажное облачко вокруг губ. Когда мы расставались, оно долго держалось на моих губах, и я чувствовала утрату. Я тосковала.

Чтобы не вслушиваться дальше в его слова, я подошла к окну. От холода стекло запотело, и казалось, что вместе с ночью наступает туман, сквозь который проехали два ярко освещённых пустых вагона, и тут же показалась витая ограда бульвара и сцепленный льдом пруд. На другой стороне улицы юноша в черном пальто поднял руку, пытаясь остановить машину. Машины слепили его фарами, переезжая его тень, лежащую поперек дороги, и ни одна из них не останавливалась.

Но этот запах... Он был разлит в нежном тепле комнаты. Он не давал мне покоя. От него хотелось заплакать.

– Да ты не слушаешь меня, – понял Первый. – Я говорю, а ты не слышишь...

– Правда, – призналась я.

Чтобы не смотреть на него, я попыталась запомнить его комнату. Последнее, куда я взглянула, была фотография над кроватью со смятым пледом – мальчик лет пяти с прозрачными, как подмена, глазами пил воду из треснувшего блюда.

Но запах не отступал. Он накатывал теплыми волнами, он изнурял. Он парализовывал собой, как мысли о несбывшейся близости, и поэтому я ушла.

От Второго в памяти остался круглый деревянный стол в мастерской на Сретенском бульваре и босые ступни на дощатом полу. По дому он ходил босиком, и когда мы садились пить чай, у него была привычка забираться на стул с ногами и, упершись пятками в сиденье, подпирать коленями подбородок. Он был невысокого роста, но идеально, по– балетному сложен, с гладкой, почти безупречной кожей. Ему нравилось ходить голым, а мне не нравилась его нагота.

Однажды посреди зимы я пришла к нему в мастерскую и, прежде чем позвонить в дверь, заглянула в окно. Было раннее утро, стояли желтые дурмящие сумерки той зимы, которая казалась последней. Он лежал на полу, на чёрной шелковой простыне, расстеленной прямо на выкрашенных досках. Его голова находилась под столом, потому что иначе он бы просто не уместился. Я постучала в окно, чтобы он проснулся: сейчас он откроет глаза и увидит деревянный испод стола с щелью посередине, и в эту щель вливается солнечный свет...

Он открыл дверь. От сна на его лице не осталось и следа. Он в упор смотрел на меня. Кажется, он был рад. Но я не смотрела в ответ. Вводя его в заблуждение, я скользила по нему глазами, а сама медленно сдвигала взгляд в сторону. И тут же на удивление четкий мир за его спиной начал светиться. Слабое зеленоватое свечение лилось из всех предметов, стоящих в комнате, и даже из чёрной простыни, смятой на полу. Он стоял передо мной голый, ему нравилось ходить голым по мастерской, но его наготы не хотелось. Мы были одного роста, и он попытался поцеловать меня, но я увернулась и перешагнула порог. Я внимательно следила за свечением предметов. Оно не проходило, но и не усиливалось. Оно походило на ровное горение. И если вдруг я клала руки на светящийся предмет, они так же начинали светиться. Тепло лилось из моих пальцев тонкими зелеными лучами. Он в это время говорил. Я не слушала, как обычно, но что-то отвечала. Его речь была фоном. Наши слова цеплялись друг за друга, и ускользящий от меня смысл перетекал к нему. Он начал раздевать меня, не переставая говорить. Его касания были приятными, но необязательными. Единственное – я прятала от него рот. Мне не хотелось, чтобы он целовал меня в губы. Его поцелуи, как губки, впитывали тот запах с Чистых прудов, не оставляя ничего после себя. А утрата была для меня невыносима.

Он что-то сказал, глядя на меня. Сначала я услышала тихий звон, как будто бы находилась в стеклянном шаре, и он разбился от прикосновения его слов, и только потом я уловила смысл. Я вздрогнула, как проснулась.

– Что? – переспросила я.

– ...она пришла ко мне на встречу с букетом темно – бордовых, начинающих увядать пионов... – это была какая-то необязательная деталь его рассказа.

– И что дальше? – неожиданно заинтересовалась я и вдруг стала цепляться за смысл его слов.

– Я с таким исступлением ждал ее... – он говорил с усилием, едва сдерживая ярость. – Я весь горел, и мои руки просто гудели от жара. Пульсировали. И когда она подошла ко мне, я схватил её за руки, которыми она сжимала стебли пионов, и они расправились. Они ожили от этой бешеной энергии, которая была в нас обоих.

– Чушь, – прервала я, отвечая не ему, а своим мыслям. Свечение предметов то усиливалось, то почти пропадало. Оно превратилось в мерцание, и от него становилось тесно в этой маленькой мастерской на Сретенском бульваре. Я стала подбирать свою одежду, раскиданную на полу, и торопливо одеваться.

– Уже уходишь? – удивился он, но я даже не ответила.

Он следил, как я пытаюсь застегнуть молнию на джинсах, и она неожиданно сломалась.

– Ты слишком много думаешь, – сказал Второй, – и слишком много молчишь. Ты не выпускаешь из себя слова. За это они тебе отомстят...

– Вот как? – удивилась я и даже остановилась. Я держала свитер, причем одну руку уже просунула в рукав.

– Слова отомстят тебе, – повторил он. – Они выйдут из повиновения и будут жить отдельно от твоих мыслей... – Второй наблюдал за моим замешательством. – Ведь даже сейчас они даются тебе с трудом... Слова даются тебе через муку... Ведь я прав, скажи? – и он заглянул мне в лицо.

– Ну, скажи, что тебе стоит?

– Неважно, – ответила я своим мыслям, потому что было совершенно неважно, что оба мы говорили.

Я спускалась вниз по Сретенскому бульвару. За спиной остались Чистые пруды, затянутые целлофановой пленкой льда. Мне тут же представились трое, стоящие у границы воды в зимних сумерках.

Очень худой мужчина, одетый, несмотря на холод, в тонкий клетчатый пиджак поверх чёрного свитера, женщина в летнем, когда-то хорошем плаще, наброшенном на джинсовый комбинезон. У обоих были длинные, разделенные на пряди волосы. У женщины они казались абсолютно прямыми, у мужчины – закручивались на концах. Их лица, совершенно не похожие между собой, были одинаково изможденными и перетекали одно в другое. Как следствие близости двух этих лиц рядом с ними стоял ребенок, впитавший в себя черты их обоих. Он стоял между перемешанной со снегом землей и тонким, острым на словах льдом.

– Что ты делаешь? – тихо спросила женщина.

Ее голос был тихим от слабости

– Добываю тепло, – ответил мальчик, разбивая ногой стеклянный ледок. Грязь от земли слетела с его ботинка.

Под глазами женщины лежали темные круги. Она была беременна. Она казалась очень молодой. Огромный живот на её слабом неразвитом теле удивлял.

– Отойди, здесь опасно, – тихо попросила она. Мальчик продолжал разбивать лед. Тонкая паутина трещин захватывала его поверхность.

– Скажи ему, – обратилась женщина к мужчине, – пусть отойдет...

Но мужчина вместо ответа нагнулся и стал помогать мальчику. Так они раскалывали лёд до тех пор, пока из-под него не показалась вода. Потом оба они расступились, давая проход женщине. Она прошла между ними, встала на колени у разбитого льда и опустила руки в чёрную воду.

– Тепло, – нежно выдохнула она и закрыла глаза. Тепло разлилось по всему её телу. Опущенные веки порозовели.

После неё мужчина и мальчик точно так же встали на колени и опустили руки в воду. И тут же от воды и от их мокрых, замерзающих рук разлилось слабое зеленоватое свечение.

Видение покачнулось и исчезло.

Исчезло все, кроме свечения, в котором мне предстояло жить. Я знала о нём раньше, но никогда не пыталась его разгадать. Оно клубилось на дне моих мыслей. Ни Первый, ни Второй мне были больше не нужны, но в руках у меня остались две их оговорки. В правой я сжимала оговорку Первого, вместе с томительным запахом, который никак не могла забыть. Он впитался в концы моих пальцев. В левой, норовя выскользнуть, извивалась оговорка Второго. Я не знала тогда, что ни Первый, ни Второй так просто меня не отпустят. Единственное, что я знала, что их оговорки не случайны, что за ними что-то стоит и что они – две половинки одного ключа. Я сложила их вместе и тут же увидела, как в сумерках к метро «Арбатская» по подземному переходу мимо закрытых витрин, разрисованных граффити, низко опустив голову, идет девушка. На ней короткая кожаная куртка и прорванные джинсы...

На мгновение она остановилась, чтобы рассмотреть граффити. Мелькнуло её лицо в профиль, и она тут же пошла дальше. Она торопилась, потому что метро уже десять минут как было закрыто, но шли самые последние поезда, на которые она ещё могла успеть.

Она побежала. Я побежала следом. Я не знала о ней ничего, кроме того, что однажды её любили больше всего на свете и что как то летним сухим вечером в руках у неё были тёмно-бордовые, уже начинающие увядать пионы. Она не знала, что я преследую её.

...Я тут же увидела: теплым вечером она бежит к метро, все к тому же – станция «Арбатская». Случайно она спотыкается и падает на ступенях перехода. Пока она поднимается, я обхожу её, что бы разглядеть, но не успеваю. её лицо завешено волосами. Они короткие и небрежно покрашенные. Темные пряди чередуются с высветленными. Светлые волосы показали чёрные корешки. Девушка раздраженно засовывает в урну темно бордовые пионы – это

из за них она упала – и бежит дальше. Цветы, укутанные в целлофан, ровно стоят в урне. Несколько темно – бордовых лепестков, сжавшихся и почерневших, опадают на асфальт.

Мы вместе бежали к «Арбатской». Она не замечала меня. Она бежала далеко впереди. Плотно прижатые к бокам локти. И волосы, осветленные на затылке. Я едва за ней попевала.

Ночные кафе у метро закрылись, и даже продавцы цветов, которые обычно сидят до поздней ночи и торгуют детьми, останавливая проезжающие по Воздвиженке машины, ушли, не выдержав холода.

И только небольшая толпа панков, два кавказца – сутенера и несколько музыкантов из перехода стояли у закрытых дверей «Арбатской». Я остановилась. Мне не нужно было в метро, мне нужно было рассмотреть, что будет делать она, девушка из перехода.

Она тоже остановилась и резко спросила:

– А че встали – то?

Но ей не ответили. На неё даже не посмотрели.

Тогда она пробилась вперед сквозь толпу панков с бутылками пива в замерзающих руках.

– А че не пускают-то? – снова спросила девушка из перехода. – Ведь так мы на поезд можем опоздать, а он последний...

– Как же, жди... – сказал один из панков и, покачнувшись, отошел от запертых дверей. – Сейчас тебя пустят...

У дверей стоял мент лет сорока с прыткими колючими усами над верхней губой и выцветшими глазами.

– Закрыто. Всем ясно, козлы? – бросил он в шаткую толпу панков и музыкантов. У него оказался пронзительный, почти бабий голос.

– Ну как же так? – не поняла девушка из перехода. – Ведь мы ещё успеем. Пустите нас, добрый дяденька...

– Пятнадцать минут второго, – сказал мент и, подняв над толпой руку с часами, уперся пальцем в циферблат.

– Ну, слушай, ну, пусти, – вступила девушка из толпы панков. На вид ей было лет шестнадцать. На щеке у неё был тонкий розовый шрам, похожий на затянувшийся порез. – У нас дома маленький ребенок, ты понял, да? – и она даже помахала рукой перед его лицом, чтобы он заметил её. – Мы были на работе... Мне надо ребенка кормить... – было ясно, что никакого ребенка у неё нет, и ни на какую работу она не ходит, и что сейчас ей надо ехать куда-то на окраину в Бирюлево или Братеево, и дома её ждет мама. – Пусти, слышишь, отец? – и она виновато склонила голову набок, чтобы усилить просьбу.

– Какой я тебе отец, сучка? – взревел мент. – Ты весь день пиво пила да обжималась, пока я на работе стоял... – и его большое, оплывшее лицо побагровело.

Двое кавказцев переглянулись и стали протискиваться к дверям.

– Может, ему по репе настучать и отбросить в сторону? – один из панков подался вперед, но его удержали.

– Всех пристрелю, пьяные ублюдки, – мент положил руку на кобуру и зевнул.

Кавказцам удалось пробиться к дверям. Один из них что-то сказал на ухо менту, но мент оказался неподкупным.

– Тебя?... – он сморщился и оглядел кавказца с ног до головы. Тот едва доходил ему до плеча, но был таким же широким. – Тебя положу в первую очередь.

Толпа зашевелилась. Всем хотелось в метро. Всем нужно было ехать.

– А я вообще не пью, – засмеялась девушка из перехода. – И я ни с кем не обжималась. Может быть, меня пустите, добрый дяденька?

Мент обернулся на её голос и посмотрел на неё. В почерневшем небе, охлажденном приближающейся зимой, ветер гнал облака, вылепив из них фигуры людей, пытающихся войти в закрытые двери.

– Послушай, мужик, – девушка из перехода перестала смеяться и встала прямо перед ментом, чтобы он разглядел её. – Хочешь, я тебе отсосу, а ты нас всехпустишь? Прямо здесь отсосу, хочешь?

Мент рванулся вперед, замахиваясь, чтобы её ударить. Но она не отступила. Тогда отступил он и прижался спиной к закрытым дверям метро. Он затравленно оглядывал толпу. Толпа молчала и внимательно рассматривала его, напрочь забыв о своём желании войти внутрь.

Неожиданно с улицы подбежал мальчишка лет четырнадцати в косухе и грязных джинсах.

– Уроды! – звонко кричал он. Толпа обернулась на его голос, выходя из оцепенения. – Что вы здесь стоите? Там открыт другой выход. – Казалось, он не может устоять на месте. Он подпрыгивал, указывая в сторону соседней станции. Его щеки горели от холода и азарта. Он был, как юркий джокер из колоды карт. – Выход открыт, ну же, ну!

И тут же вся толпа панков и музыкантов вместе с двумя кавказцами и девушкой из перехода побежали к соседнему выходу, мгновенно позабыв про мента. Он остался один на опустевшей площадке перед станцией «Арбатская», покрытой свежим инеем и осколками пивных бутылок.

– Входите, – кому-то сказал он, открывая одну за другой стеклянные двери, помеченные словом «Вход», и тут же повторил: – Входите! – и отпер череду дверей с красной полосой «Входа нет».

Ветер гнал по небу тёмную толпу облаков. «Арбатская» простояла открытой до утра.

Полные весёлой ярости, они неслись по пустому метро. Кто-то перепрыгнул через турникет, кто-то пробежал мимо контролерши, уже успевшей задремать. Она проснулась от крика толпы, прорвавшейся сквозь ночь, достала маленький свисток из кармана форменного пиджака с посеребренными пуговицами и бессильно засвистела. Никто не обернулся.

Впереди бежал панк лет тридцати. Он бежал тяжело, но довольно быстро. У него было худое со впалыми щеками лицо с маленьким узким ртом и болезненно расплывшееся тело, как у людей, постоянно пьющих пиво. Получалось, что толпа бежит за ним.

– Что ты бежишь, как козёл? – догнала его девушка из перехода, откидывая волосы со лба, что бы он её рассмотрел.

– А как надо? – панк разглядывал её, и она ему нравилась.

Веселье и бешенство неслись по телу вместе с кровью, все они горели под одеждой.

– Надо быстрее! – крикнула она и рванулась вперед. Теперь получилось, что вся толпа панков и музыкантов бежит за ней. Их шаги вместе с голосами взлетали под своды станции. Растревоженные птицы, залетевшие в метро в поисках тепла, метались под потолком. Толпа остановилась на платформе и на мгновение замолчала. Тишина наполнилась криками птиц. Они беспорядочно носились в воздухе...

И тут передо мной закружилась воспоминание. – Твоя беда в том, – говорил Второй откуда-то издали, – что не слова подчиняются тебе, а ты словам.

– А как же иначе? – поразилась я, чувствуя легкий озноб, как когда мимо проходит смерть – и жизнь в теле тут же откликается на её зов. Второй остался совершенно спокоен. – Как же иначе? Ведь слова были раньше меня и останутся после. Они вечны. И как же мне не подчиняться им? Что ты, вообще, знаешь про слова? – почти закричала я.

– А что знаешь ты? – весело засмеялся Второй – так сильно я его забавляла.

(Воспоминание проступало все отчетливее. Оно пыталось заслонить ярко освещённую станцию метро и стайку молодых панков с пустыми бутылками из-под пива. Мне пришлось сделать усилие, чтобы видение не ускользало.)

– Аллах акбар! – сказала девушка со шрамом на лице, когда из тоннеля со свистом вылетел сияющий поезд.

– Загружаемся, – сказала девушка из перехода, за которой я шла.

И хотя поезд ещё только остановился, она разбежалась и прыгнула. Двери вагона сейчас же раскрылись перед ней. И мы все набились следом: панки, музыканты, девушки из толпы и кавказцы – сутенёры. Двери закрылись. Я огляделась по сторонам: на сиденье, обхватив колени руками, спал солдат. Расшнурованные ботинки аккуратно стояли на полу.

– А кто прошел за деньги? – крикнул панк, бежавший впереди, поглядывая на девушку из перехода.

– Я – не, я – халява... – тут же отозвались с разных сторон.

Особенно суетился мальчишка джокер в косухе. Он вскочил и побежал по вагону, заглянул в лицо солдату, посмотреть – насколько крепко он спит, и даже похлопал его по щеке. Солдат потянулся во сне, на мгновение открыл глаза и тут же повернулся на другой бок, уткнувшись лицом в спинку сиденья.

Девушка из перехода беспокойно скользила взглядом по своим попутчикам. Мне казалось, что все они невидимо горят под одеждой, и это жжение не дает им покоя. Они вскакивали, кричали, беспорядочно смеялись, размахивая руками. И только кавказцы – сутенёры сидели отдельно, мрачно косясь на происходящее.

Все мы оказались в этом поезде по разным причинам. Мы ничего не знали друг о друге и не хотели знать. Нас объединяла металлическая утроба вагона. Она поглотила нас и заключила в себе. И теперь всем нам на протяжении пути предстояло прожить общую, пусть очень короткую, жизнь, которая могла закончиться чем угодно.

Кто-то пустил по вагону бутылку пива. Девушка из перехода отпила из неё и передала своей соседке со шрамом. Мальчишка – джокер подскочил к ним и с жадностью допил остатки.

– Люблю халяву! – крикнул он.

Девушка из перехода вяло засмеялась и откинулась на спинку сиденья. её соседка что-то рассказывала. Она кивала в ответ, не вслушиваясь в слова, и смотрела сначала на свои ладони,

потом очень внимательно – на запястья, на темно– голубые вены, ветвящиеся под кожей. Мальчишка в косухе разбил пустую бутылку об пол. Сверкнули осколки, как всплеск пьяного хохота.

Солдат, спавший напротив, проснулся и оглядывался по сторонам, пытаясь вспомнить, где он находится. Девушка вздрогнула и поняла: «Нужно выпустить лишнюю кровь». И тут же увидела, как из распоротых вен на запястьях вытекает кровь. Сначала теплыми, тонкими струйками весело бежит по ладоням, обагрывая концы пальцев, а потом льется густым, тяжёлым потоком. Чем больше выливается крови из её вен, тем легче становится ей, девушке из перехода, и вот уже на полу вагона тёмно-красные лужи, перемешанные с осколками пивной бутылки. А ей все легче и легче.

Ей уже совсем легко...

Она очнулась. Солдат напротив окончательно проснулся и испуганно смотрел на неё. Она ясно понимала: это чужая мысль. Просто она плыла в воздухе и случайно попала к ней. Она посмотрела на свои руки: её запястья были ровными и абсолютно гладкими. Ни единой царапины. Нет, такая мысль просто не могла прийти ей в голову.

Мальчишка-джокер бегал по вагону, бросая в панков случайные слова. Они что-то отвечали. Он дергался от их ответов и тут же смеялся. Неожиданно он запрыгнул на сиденье и стал развинчивать плафон, чтобы затем выкрутить лампочку. Плафон открылся. Он дотронулся до лампы, и она разлетелась на осколки в его руках. Он закричал от страха. Один из осколков вонзился ему в запястье, и из раны брызнула кровь. Алая, светящаяся, она была фонтаном, смешиваясь с его криком. Она была, как жизнь, вырвавшаяся наружу...

\* \* \*

Иногда я даже думала: не приснилось ли мне это во сне? – мы с Тенью рисовали деревья. Мы рисовали их красками на плотных ватманских листах, мы рисовали их в тетрадах графитными карандашами и гелиевыми ручками, мы рисовали их ветками на песке, а иногда просто вычерчивали ступнями ног. Некоторые получались с прямыми стволами и раскидистыми кронами, у других редкие ветки начинались только где то ближе к вершинам, третьи были искривлены и стелились по земле.

– Живём, как в лесу, – сказала я Тени.

Тень молча согласилась и пошла ещё дальше.

Она развесила изображения деревьев на стенах её и моей квартиры, и мы действительно оказались в нарисованном лесу. Потом она принесла с улицы живые листья и приклеила их к нарисованным веткам. Я смеялась: ветка одного дерева могла быть покрыта одновременно кленовыми, березовыми и дубовыми листьями.

– Но ведь сад нарисован, – оправдывалась я, если на него приходили смотреть. Лес я стала называть «садом».

А Тень молчала. Она не считала нужным оправдываться. Стоило мне только о чём-то подумать, Тень сразу же воплощала мои мысли. Однажды она пришла ко мне, когда я дорисовывала на стволах жуков – короедов и длинных, извивающихся червей, так, по моему, должны были, выглядеть гусеницы.

– Что это? – заинтересовалась Тень.

– Насекомые, – ответила я. – Они ползут по деревьям, думая, что мир – это разветвляющиеся трещины в коре, и никто из них не подозревает, что находится на дереве.

Тень опять пошла дальше. Она нарисовала птиц, кружащихся над деревьями.

– Но есть птицы, – продолжила она. – Они видят со стороны дерево и подлетают к его стволу, кора которого полна насекомых. Птицы пожирают их и думают, что мир устроен именно так.

Потом она нарисовала зверей.

– А есть звери, которые ходят вокруг деревьев и видят птиц, клюющих насекомых на древесных стволах, и, наконец... – и тут она нарисовала людей. – Люди замечают зверей и их охоту на птиц, а также охоту птиц на насекомых и то, как насекомые вгрызаются в древесину, и это их картина мира.

– А есть... – мы с Тенью переглянулись и замолчали.

Тень о чем-то думала. А я отошла в середину комнаты и разглядывала рисунки со стороны.

– Чего-то не хватает, – неожиданно поняла я. – А ты как думаешь, скажи?

Вместо ответа Тень мгновенно нарисовала луковицу.

– Мир внутри мира, – объяснила она. – Мир насекомых находится внутри более крупного мира птиц, мир животных облегает мир птиц и заключает его в себе и так далее – как слои

луковицы, снимающиеся один за другим. А есть такие миры, такие... – заволновалась Тень, как будто бы пыталась что-то вспомнить и никак не могла.

– Какие? – насторожилась я.

– Их не описать словами... – с усилием выговорила Тень, – это невозможно. Они не поддаются словам и не подходят ни под одно описание. Они и слова существуют порознь... И наши с тобой попытки... – и тут Тень презрительно скривила личико и указала на нарисованные леса в живых шелестящих листьях, – они – ничто, просто так – детская игра.

Я подошла к Тени и внимательно на неё посмотрела. Я даже потрогала её лицо пальцами, потом дотронулась до своего и скривилась точно так же. Мы замерли, глядя друг на друга. Время пошло.

Потом рисунки, изображающие деревья, кто-то снял, и у меня не осталось никаких доказательств того, что это был не сон, а действительный период жизни.

Однажды отец Тени вёз нас в школу. Мы были сонные, мы почти дремали на заднем сиденье. Я думала, он нас не слышит.

– Почему... – спросила я. Тень тут же подняла голову и вяло посмотрела на меня. Мы находились между сном и явью. – Почему, стоит мне только подумать, как ты выхватываешь мою мысль и мусолишь её? Я уж и забуду о ней, а ты все развиваешь её во все стороны...

– Потому что, – голос её был слабеньким, она ещё не проснулась, – если долго долбить в одну точку, можно додолбиться до вспышки...

Отец Тени так резко остановил машину, что нас отбросило назад, на спинку сиденья.

– Выходите, – очень четко сказал он, как будто бы пытался к нам пробиться. – Вы ещё можете успеть...

Мы вышли из машины в промозглый холод улицы и окончательно проснулись.

Я проснулась в середине зимнего дня в своей комнате, лежа на полу. Зимнее тепло вливалось сквозь запечатанные окна и разогревало доски паркета. Мне нравилось спать на полу. Я стелила простыню, разглаживала её ладонями, прижималась щекой и сквозь неё чувствовала гладкое, отшлифованное дерево, застывшее, но абсолютно живое. Моя комната – голубая с темно-синими всполохами – была заполнена только мной, ничего постороннего: ни предметов, ни людей.

Мне нравилось спать на полу ещё и потому, что мои мысли, перемешанные со снами, взлетали от пола к потолку, как воздушные шары, наполненные водородом. Они мгновенно пронизывали пространство, оставляя за собой светящиеся хвосты.

В то утро простыня подо мной была полностью сбита, я лежала прямо на голых отшлифованных досках и ясно видела, что клубится под потолком...

Манерно выставив колени, задвинув лодыжки, затянутые шнуровкой ботинок как можно дальше назад, так, что получался недочерченный треугольник с острым углом, они сидели в два ряда на выкрашенных в белое скамейках, под бутафорскими фонарями, горящими, как ошибка, посреди летнего зноя в саду театра «Эрмитаж».

Мне было все равно.

Я видела: она отделилась от тени деревьев и тут же встала у пластмассовых столиков летнего кафе, на одном из которых были разложены на продажу кассеты и компакт диски. Она наклонилась и что-то шепнула на ухо продавцу. Он не ответил. Он только улыбнулся и опустил глаза.

На эстраде, прикрытой ожиревшим ангельским крылом, музыканты вымогали внимание, но слушать их не хотелось, хотя я все время отвлекалась на их музыку. Я разозлилась: они рассеивали меня, и я могла не найти то, что искала. Скорей бы они замолчали...

Они тут же переглянулись и замолчали. Я забрала назад все внимание, потраченное на них.

Я видела два сближающихся профиля: её, опускающийся сверху, заглядевшийся на своё отражение в чужих зрачках, и юноши – продавца, тянущегося к ней в ответ. Но тут плохо освещенные волосы девушки, убранные за уши, рассыпались и занавесили их лица, поэтому я так и не узнала, что произошло между ними.

Я пошла между рядами острых колен. Я знала, я на правильном пути. Наступившие сумерки пытались обмануть меня, но я не поддавалась. Я не разглядывала лица, хотя некоторые старательно бросались в глаза и даже выгибали губы, произнося приветствия и другие необязательные слова. Тень от листьев стекала по лбам, нежно захватывала подглазья и переносицы, но не дотягивалась до подбородков, и они белели узкими полумесяцами.

Когда я подошла, её уже не было у столиков с кассетами и дисками. Сумерки в саду «Эрмитаж» все же обманули меня – продавцов оказалось двое, зато она исчезла. И зеленоватое свечение вместе с ней рассеялось в воздухе, превратившись в лёгкий свет от листьев на летней жаре. Для утешения я сказала: «...смешалась с толпой...»

Первый продавец сидел, слегка подавшись вперед и опершись на локти, и внимательно вслушивался во что-то. На вид ему было лет двадцать пять.

– Где она? – почти закричала я.

Но он не ответил. Он даже не посмотрел на меня.

Казалось, что в этот момент он видел что-то совсем другое, к чему внимательно прислушивался.

– У нас большой выбор, – приветливо сказал его напарник.

– Я не тебя спрашиваю, – меня затрясло.

– Зато я тебе отвечаю, – он был совершенно спокоен. Он засмеялся. Ему было лет пятьдесят, и его лицо с седыми висками, абсолютно седыми ресницами и полинявшими, как выгоревший холст, глазами, напоминало незаконченную картину, эскиз с условным изображением, которое никто не собирался дописывать. Я повелась на его смех. Он указал на кассеты, разложенные на столике. Несколько из них были подписаны: «Хлысты».

На мгновение его смех сбил меня. Воздух исказился, и я увидела пляшущих людей, исступленно бичующих себя кнутами. Пока он смеялся, свистели их кнуты и раздавались их крики. Вдруг один из них запел. Он пел, бичуя себя и превозмогая боль, и голос его был настолько прекрасен, что остальные остановились и засмотрелись на него.

Второй продавец перестал смеяться, потому что видение вот-вот должно было стать явью, и его смех был уже не нужен. И даже первый, молчали вый, вдруг поднял глаза и посмотрел на меня.

Слушать поющего стало невыносимо, от его голоса становилось больно. В его голосе было все – сотворение мира и одновременно его страшный, искаженный конец, родившийся из свиста бичей и разодранной от ударов кожи. Сердце изнывало от пения, как перед смертью. Я встретила глазами с юношей – продавцом. Они были матовыми от наступивших сумерек и от длинных тёмных ресниц, которые в ранней юности становятся её синонимом и вызывают удивление на постаревшем лице.

И я сразу же поняла: окружающий мир меняет личины. Он морочит и отвлекает меня, и чем изворотливее становлюсь я, тем изобретательнее становится он.

У юноши продавца был темный, капризно выгнутый рот с трещиной на середине нижней губы. От неё становилось неприятно. Я провела ладонью по его губам, и он послушно потянулся следом, пытаясь поймать мои пальцы.

– Нет, она не целовала тебя, – тут же поняла я и брезгливо вытерла руку.

Видение рассеялось, так и не проявившись до конца.

Передо мной сидели два уставших продавца из сада «Эрмитаж», один молодой, другой гораздо старше, и предлагали на выбор этническую музыку. Чем больше они продадут, тем выше будет их заработок за сегодняшний вечер.

– Вы кого-то ищете? – вежливо спросил второй продавец. Он любезно улыбался, как в парфюмерном магазине, и готов был ответить на любой вопрос, только бы я у него что-нибудь купила.

– Не ваше дело, – тут же ответила я.

И тут же произошла перемена. Вторым продавцом раскинулся на стуле и стал выбивать пальцами какую-то мелодию на подлокотнике так навязчиво, что первый, его напарник, скривился, – эти удары сбивали его. Они мешали ему к чему-то прислушиваться.

– Вы не нужны мне, – засмеялась я в лицо старику.

– Вы мне тоже... – мои слова его никак не задели. – Только я и смогу ответить на ваши вопросы.

– Это почему? – не поверила я и слегка толкнула первого продавца в плечо. Он отодвинул стул в тень деревьев, чтобы я не смогла до него дотронуться.

Второй продавец снова засмеялся, но его смех больше не действовал.

– Он, может быть, хочет ответить, – объяснил он, – да не может. У него слух – как у ангела, а голоса – никакого. Он немой...

– Немой? – поразилась я, вглядываясь в его лицо.

Вокруг век лежала легкая синева, как будто бы он недосыпал по ночам или изнурял себя как-то иначе.

– Ну, хорошо, – попросила я, – скажи ему, я ищу одну девушку. Скажи, ты слышишь?..

Я боролась с собой, чтобы не зарыдать. Я пыталась говорить как можно короче. Мне было легче произнести «скажи», чем «скажите». Я торопилась.

– Какую девушку? – холодно спросил второй продавец.

– Я не знаю... Я ничего о ней не знаю, ни её имени, ни даже как она выглядит... – я запинаясь. Я понимала, что теряю время, но они не отпускали меня. – Я видела её несколько раз мельком и сейчас сразу же узнала её. Она только что была здесь и разговаривала с вами.

– А зачем тебе она? – усмехнулся второй продавец, чувствуя, что я не могу уйти. И даже первый лениво проскользнул по мне глазами.

– Я измучилась мыслями о ней, – призналась я, хотя толком не знала, кому и зачем я признаюсь. – Я боюсь за неё. Она уходит от меня в зеленоватое свечение, и я не знаю, что происходит, когда она остается там одна. И вслед за ней я, как ни стараюсь, не могу туда проникнуть...

– Твои слова ничего не значат, – тянул время второй продавец.

– А что значит? – Действия...

Я знала, что он прав: слова с трудом подчинялись мне и очень неохотно выражали мои мысли.

– Вот она стоит и ждет, когда же ты к ней подойдешь... – и старик указал куда-то за меня.

Я знала, что он снова пытается меня обмануть.

– Что ж, спасибо, – улыбнулась я. Настала моя очередь смеяться. Я протянула ему пятьдесят рублей.

– Это за что? – и он с тревогой посмотрел на меня. Он не хотел брать деньги.

– Это за «Хлыстов», – сказала я, вспоминая дивное пение и невыносимую боль, которую оно причиняло. – Сейчас никто не поёт бесплатно.

Я бросила деньги на стол и обернулась, куда он указывал. У ворот сада «Эрмитаж» среди горящих факелов – их зажигали только в честь праздников – стояло несколько подростков. Среди них была девушка в потертой кожаной куртке с неровно выкрашенными волосами, отдаленно похожая на ту, которую я искала...

Он в последний раз попытался сбить меня, но у него уже не было сил.

Когда я уходила, немой юноша и болтливый старик по прежнему сидели в сумерках, поджидая следующих блуждающих по тёмному саду...

Никто не мог вторгаться в мою комнату без моего желания. В то время я была сильной и с легкостью останавливала все возможные попытки. Но вдруг я почувствовала: силы утекают...

На моем подоконнике стояли два макета, вделанные в коробки из-под кагора. Первый с точностью повторял обрывок улицы с подземным переходом, загибающимся под прямым углом, и короткий путь к метро «Арбатская» мимо ларьков с сигаретами и стеклянной забегаловкой «Шеш-беш» и небольшой площадкой перед входом на станцию. К картонной стенке коробки были приделаны разноцветные лампочки, и я могла включать то сумерки, то раннее утро, то разгар полудня. Время у метро «Арбатская» полностью принадлежало мне, и я зачарованно играла с ним.

Второй макет повторял какой-то незнакомый мне сад с причудливыми растениями. Я ничего не знала о нём или просто не узнавала его, поэтому он меня не интересовал.

Первый любовник был режиссёром, второй – художником. Если я думала о них, то для удобства так и называла – Первый и Второй. Общим у них было то, что оба они создавали картинки. Только у Первого они постоянно двигались, подражая жизни, а у Второго – замирали неподвижно.

Я уставала от бешеной скорости Первого – он ни секунды не мог оставаться на месте; и даже когда мы пили кагор на его кухне на Чистых прудах, он вдруг резко вставал из за стола и начинал ходить от стены к стене, рассказывая что-то страстное, изнывая от собственной страсти, и потом к ночи выдыхался. И как только я прикасалась к нему, он тут же ускользал от меня в сон. Когда я уставала от его скорости, я шла ко Второму, и мне даже усилия делать не приходилось – всего то нужно было по Чистопрудному бульвару спуститься вниз на Сретенский. Я успокаивалась, по тому что время в мастерской Второго текло мед ленно, как обман. Я не могла долго со Вторым, я начинала им тяготиться и тут же возвращалась к Первому. Моя жизнь текла по кругу, как трамвай «Аннушка», объезжающий Чистые пруды. И если бы не это зеленоватое сияние, она бы так и продолжала течь, равнодушная и прекрасная, как смена времен года; но раз въехав в зыбкий зеленый туман, «Аннушка» сошла с рельсов.

Ни Первый, ни Второй были мне теперь не нужны. Я не только перестала у них бывать, я даже перестала о них думать.

Они попытались проникнуть ко мне, но я не подходила к телефону. Иногда Первый, стоя под моим окном, бросал камешки в стекло, но я за крыла окно плотными шторами, и он перестал приходить. Иногда их голоса рвались с автоответчика, пытаясь заполнить мою комнату, и мне было смешно.

Мне не нужно было ничего – только разглядеть лицо той девушки, возникшей из двух их оговорок, и понять, что же стояло за ней.

И вдруг я подумала, что напрасно так высмеиваю их голоса, бьющиеся о прохладный воздух моей комнаты. Воздух дал трещину, и в неё стало вливаться что-то чужое/

Мне приснился сон: Первый позвонил в мою дверь, но я не открыла. Я даже голоса не подала.

– Я знаю, что ты здесь, – сказал Первый и с силой нажал на звонок. – Впусти меня.

Звонок разрывался под его пальцами, но я не ответила.

– Впусти меня, – снова попросил он и слегка толкнул дверь. Звонок сломался, и я слышала, как он засмеялся, стоя в подъезде. Он думал – это новая игра.

– Ну, открой, – ласково попросил он, пытаюсь обратить все в шутку. – Ну, прошу тебя... – и вдруг с яростью выкрикнул: – Почему ты молчишь? Открой мне дверь, слышишь? Впусти меня... Я знаю, что ты здесь, и только дверь разделяет нас...

Он с силой пнул дверь.

Я подошла, чтобы проверить замки – все ли они закрыты. Я положила руки на замки и внушала себе, что не хочу открывать, но больше всего мне хотелось их открыть.

– Умоляю тебя, – просил Первый. – Я знаю, что ты стоишь рядом со мной, а я не могу до тебя дотронуться. Я так чувствую тебя, – и в ярости пнул дверь ногой. – Открой мне дверь... Я не могу без тебя. Прощу тебя, открой, ну что тебе стоит?

Я знала, что сейчас поверну ключ в замке, и спрятала руки за спину.

– Прощу тебя, – иступленно бился Первый, и двери содрогались от его ударов. – Впусти меня, что тебе стоит? От тебя не убудет –пусти! Чем тебе было плохо рядом со мной? Я так любил тебя, а ты оставила меня. Я делал все, что ты скажешь, а ты оставила меня... Я так любил вечера, когда ты приходила, потому что впереди была целая ночь, и ненавидел утро, потому что ты покидала меня. Я притворялся, что сплю, а сам знал, ты уходишь туда, вниз по Сретенскому, и там тебя уже ждут. Я всё знал о тебе и не удерживал, а ты всё равно оставила меня!

Я в первый раз пожалела о том, что я одна. Если бы хоть кто то был рядом, я бы попросила связать мне руки за спиной и я бы не тянулась к ключам.

– Это ты не меня отвергаешь, – задыхаясь, кричал Первый, пытаюсь выбить дверь, – это ты любовь отвергаешь, а вместе с нею жизнь. Я знаю, что ты здесь и что ты слышишь каждое моё слово. Открой мне дверь, и всё будет как раньше... Если ты хоть когда то любила меня, открой мне...

Я в первый раз испугалась его ярости. Я видела его разгоряченное лицо и измученный, кривящийся рот:

– Сдохни в корчах, и я забуду тебя! – выкрикивал он. Я знала, что сейчас он выбьет дверь.

– Ты даже близко не знаешь, что такое любовь, ты даже близко не знаешь, что значит тосковать... Мне невыносимо, ты слышишь? Открой мне дверь!

И дверь поддалась. Он выбил её, из неё вылетел замок и бессильно повис на развинченном шурупе.

Он стоял передо мной, изнемогая от ярости, рубашка на нем вымокла. На лбу и над верхней губой выступили капли пота, рот гневно вздрагивал, но его лицо... Оно сияло торжеством, и в руке он сжимал нож. Я мгновенно всё поняла и побежала от него. А он побежал за мной...

– Открой мне, – по-прежнему просил он. Но слова уже были неважны, они были искажением сна.

Он с легкостью настиг меня и с размаху ударил ножом в плечо. Я почувствовала боль. К боли примешивалась тоска, и тоска была сильнее. Он с силой выдернул нож, и из раны хлынула кровь. Его белая рубашка была в моей крови. Кровь попала на его лицо, на его губы, но он, казалось, не чувствовал.

Он бежал за мной и бил меня ножом в плечо, а я пыталась убежать, но он все равно настигал и ранил меня, обагрившись моей кровью. От крови в комнате стало светло. её свет разгонял сумерки. Он бежал за мной и каждый раз, ударив ножом, позволял вырваться. Его захлестывала моя кровь, а меня захлестывала его тоска.

Вырвавшись из сна, я побежала ко Второму.

Я взяла разбег ещё во сне, и когда наконец мне удалось прорваться сквозь пробуждение, я оказалась на Сретенском бульваре. От боли в плече не осталось и следа. Первый с ножом и разломанные двери – всё оказалось запертым во сне, и только от тоски, вошедшей через рану, мне убежать не удалось.

– На тебе нет лица, – сказал Второй, открывая дверь.

– Я забыла его во сне.

Он не засмеялся и даже не удивился.

– Зачем пришла? – в его голосе слышалось напряжение.

– Впусти – узнаешь...

Он послушно отступил вглубь мастерской. Я перешагнула порог, но споткнулась и с размаху рухнула на пол...

Я очнулась на разглаженной чёрной простыне, расстеленной посреди комнаты. Сначала пронеслись слепящие цветные пятна картин на стенах, которые тоже все, кроме одной, следовало запереть во сне; и только потом я заметила Второго. Он лежал рядом и пытался расстегнуть на мне рубашку.

– Не хочу, чтобы ты ползал по мне, – поморщилась я. – Не дотрагивайся до меня.

– А чего же ты хочешь? – он удивился и как обычно попытался поцеловать меня в губы.

Как обычно я увернулась.

– Положи что-нибудь между нами, – попросила я, – иначе я ничего не смогу тебе рассказать.

Он засмеялся и с чёрной простыни шагнул на желтый блестящий пол.

– Однажды пророку Мухаммеду приснился сон. Ему предложили на выбор воду, вино и молоко. Он выбрал молоко. Вода была иудаизмом, вино – христианством и молоко – исламом.

И Второй положил между нами Тору, Библию и Коран.

– Но это же богохульство, – засмеялась я.

– Зато теперь я не дотронуся до тебя и пальцем.

Я рассказала ему то, что видела во сне. Он напряженно слушал.

– Плечо болит? – и он потянулся ко мне.

– Остановись, – предупредила я, и его рука застыла в воздухе.

– Так болит или нет? – повторил он.

– Это неважно. Я чувствую слабость.

– Это тот, с Чистых прудов гнался за тобой?

– И это неважно, – равнодушно ответила я.

На секунду Второй задумался, пытаясь что-то разглядеть на дне моих мыслей.

– В нём есть еврейская кровь? – что-то понял он.

– И это неважно тоже...

И тут же вспомнила чёрно-белые фотографии под стеклом в деревянных рамках, расставленные по комнате.

– Так, булочки... – отшучивался Первый. – Мелкие лавочки. Всю жизнь торговали по мелочам. Жили в нищете... – и указывал на сумеречные двойственные лица. Он никогда не отвечал на расспросы о них. Так, бросал два три слова: – Вершили свои потайные делишки, но только между собой, чтобы никто не догадался.

У него был мягкий, расслабленный голос, как будто бы он делал усилие, чтобы говорить. Но от его смеха я вздрагивала. Он был резким и неожиданным, как если бы со звоном рухнула посуда – осколки стекла с ножами. И его смех рядом с его бессильными, покорно рассыпающимися волосами был неприятен. Хотелось, чтобы он замолчал, И он тут же замолчал и больше ничего не рассказывал. Ему в ответ было неприятно, что я так внимательно разглядываю фотографии под стеклом, но каждый раз он забывал их убрать перед моим приходом.

– Ты просишь то, чего я не могу тебе дать, чего у меня нет, – кривился он, глядя, как я разглядываю лица на фотографиях, и я тут же переводила взгляд на него. – Ты просишь любви, а это – ничто. Это смешно. Все равно, что я просил бы у тебя денег...

– Он каббалист, – понял Второй, вглядываясь в меня. Его рука, застывшая в воздухе, затекла, и он тяжело опустил её на простыню. Чёрный шелк закрутился вокруг его пальцев, слегка измявшись.

– Что за чушь, – скривилась я. – Он истощен собственной страстью и опасными, безжизненными мечтами. Он истощен бессилием. Бессилие и страсть – они пожирают друг друга. У него почти нет времени на жизнь. Зачем ты морочишь меня?

– Откуда ты знаешь, чем занимались его мелкие лавочки? – устало спросил Второй. У него были серые глаза с поволокой и медленные, слишком медленные слова. А я не могла ждать. Я вся горела. – Их знание у него в крови. Он может сам не знать об этом, но Каббала все равно проступит. Она заговорит его словами, начнет думать его мыслями. В войну его предки заживо горели в концлагерях, и тогда они изощрились в передаче знаний. Он думает – это его мысли, а это их кровь нашептывает...

– Я не верю тебе... – усомнилась я. – Ни одному слову. Это ты от ревности, я знаю...

– Так вот, – перебил Второй, не слушая меня. – Устройство мира можно просчитать, и оно подчинится цифре. В Каббале у человека... – он запнулся, но почти сразу же поправился. – У женщины три души, и в каждой по три силы. А нож в твоём сне – это символ силы. Он похитил у тебя одну из них – шестую или седьмую по счету. Теперь у него власть над тобой, а ты тоскуешь.

Он ранит тебя твоей собственной душой. Он попадает точно в цель, поэтому идет кровь. И вовсе не к нему тебя тянет, нет! Ты просто хочешь вернуть пропажу...

– Где доказательства? – спросила я, приподнимаясь на локте. Я чуть не дотронулась до него.

Мы были два голых человека, извивающихся на чёрной простыне. Его кожа была немного темнее моей, а тело на ощупь чуть прохладнее.

– Доказательств нет, – засмеялся Второй.

Я поднялась. Он поднялся следом. Мы стояли друг перед другом. Нас больше ничего не разделяло.

– Поверь мне на слово или не верь совсем... – он прицелился губами в мой рот и потянулся ко мне, я подалась ему навстречу.

И вдруг я почувствовала запах... нет, сначала не запах, а быстрый, мгновенный укол в сердце. Лицо Второго было уже совсем близко, а запах разгорался. Он был уже не просто запахом, он стал лёгким привкусом на губах. И вот Второй уже должен был прикоснуться ко мне, я чувствовала его тепло и одновременно прохладу... Но запах... Сладковатый, с каплей горечи на дне, он ревниво встал между нами.

– Пожалуйста, не подходи ко мне, – нежно попросила я и отступила назад.

– Ты дразнишь меня? – не понял Второй.

– Конечно, нет, – засмеялась я и выгнулась, чтобы избежать его протянутых рук. – Смешно, правда?

Потом я позволила ему приблизиться. Подпустила так близко, что он даже не поверил, и тут же увернулась. Он чуть не упал. Поскользнулся на чрезмерно гладком паркете.

Я больше не сдерживалась. Смех вырывался из меня, бился о цветные пятна картин на стенах. Его осколки сыпались на Второго и яростно врезались в него.

– Поймай меня, – ласково просила я, и он поддавался каждый раз.

Он бежал за мной, и в последний момент, когда он уже должен был схватить меня, я уворачивалась.

– Я все понял, – неожиданно остановился он. У него были прохладные глубоко посаженные глаза, из-за поволоки казалось, что он смотрит сквозь замутненную воду. – Ты сошла с ума...

Его лицо передернулось, как будто бы я заставляла его бежать по разбитому стеклу.

– У тебя нет доказательств, – ответила я.

Я не стала дожидаться, пока он откроет. Я выбила дверь ногой и выбежала на улицу. Кажется, воздух чем-то обжёт меня – холодом или яростью.

Но жжение казалось мне неважным.

...Да, мне нравилось жить. Мне очень нравилось жить. Что говорить – это правда. Но вкрадывалось одно «но». Я любила жизнь не в грубом её потоке, грохочущем, как электричка в черном тоннеле метро, а немного со стороны. Мне нравилось не участвовать в ней, а наблюдать за ней. Все моё участие происходило через наблюдение, как будто бы жизнь идет себе и идет, а я парю над ней или, наоборот, лежу где-то внизу, во мраке, открываю глаза, и она, яркая и бешеная, разворачивается надо мной, меняя картинки. Это походило на ночные походы в кино, в МДМ на «Фрунзенской», когда мне нравилось лежать посреди тёмного зала на подушках сиденьях и смотреть фильм. Сверху надо мной мерцал экран, показывая то, чего не было, не могло быть и не будет, а сзади, где-то в углу зала, ближе к выходу, слабо светился бар с холодной кока-колой, пивом и попкорном.

Сколько я себя помню, я жила именно так. Понимаете, сейчас, когда все в прошлом, мне нет смысла лгать. Сейчас я правдива как никогда. Я знаю, что вы скажете в ответ, – что прошлого нет, точно так же, как нет настоящего и будущего, все происходит в единый миг времени, все времена видны насквозь. Но я простой человек, а для простых – сложно так разглядывать время. Я жила обычно, линейно, и для меня существовало вчера, сегодня и завтра...

Я была простым человеком, а вы столько спрашиваете с меня. Почему? Я не знаю, что сказать в своё оправдание. Мне страшно вашего суда, и я не смею поднять глаз, чтобы посмотреть в лица ваши. А вы несете меня все выше и выше. И как же я предстану там, наверху, куда вы несете меня?

Неожиданно из моего кармана выпал маленький блокнотик с рисунками. Я едва успела его подхватить. Он оказался совсем тоненьким, большая часть листов была выдрана. Я с трудом узнала его, потому что он ничего не значил в моей жизни. Я рисовала просто для развлечения, что бы заполнить паузы между событиями.

Один из уцелевших листов был поделен на три части, в каждой из которых уместился рисунок, подписанный сверху. Я прочитала названия и тут же узнала рисунки. Это из-за них сейчас я плутала по воздуху.

Первый карандашный набросок, подписанный «*Прошлого не было*», изображал девочку–подростка лет двенадцати. Она стояла, прислонившись к стене, и было непонятно–то ли это вечер, и на стену падает короткая тень, то ли рядом с ней стоит её приятельница, немного похожая на неё, только ростом пониже. её очень плохо видно из-за наступивших сумерек. Про себя я называла эту картинку «Я и Тень», но я была вовсе не я, а некая воображаемая сущность, ожившая только благодаря моим мыслям.

Второй набросок назывался «*Настоящего нет*». Он изображал двух очень молодых мужчин, похожих на братьев-погодков или даже на близнецов, и девушку между ними. Это была история Первого и Второго, но в реальности они не только не были братьями, они не напоминали друг друга даже отдаленно.

На третьем, подписанном «*Будущего не будет*», – были нарисованы два юноши. Один смотрел на берег моря, изрезанный бухтами, другой неотрывно смотрел на него. Оба они никогда всерьез не трогали меня, я загляделась на них просто так, от любопытства. Они меня забавляли.

Воспоминания обожгли меня, и я закричала:

– Хорошо, признаюсь! – мой голос сотряс воздух. Вместе с воспоминаниями пришло понимание, и я уже не могла промолчать.

Я не могла остановиться:

– Мне нравилось смотреть за несколькими жизнями одновременно, – говорила я, – потому что наблюдение давало власть, но я не знала тогда, что всякая власть иллюзорна. Мне нравилось проживать несколько жизней в один миг времени. Они были моей страстью и моим развлечением. И если кому-то требовалась помощь, я не помогала, прежде не посчитавшись с собой. Я могла помочь, могла выполнить просьбу, но не ради тех, кто просил, а только для того, чтобы усилить и растравить свои собственные чувства... Так как же теперь мне подниматься вверх? Всё выше и выше иду я, и с каждым шагом мне всё тяжелее. Я слишком много забавлялась, я заигралась, и вот не знаю, что же мне ответить теперь...

Блокнот с уцелевшими набросками выскользнул из моих рук и полетел вниз, и я почувствовала облегчение...

...Ему казалось тогда, что он прекрасно помнит, где находится этот бар и что он найдет его в любой момент. Он всегда уповал на свою прекрасную память. «Москва изменилась за то время, пока меня здесь не было, – говорил он размеренно, холодно. К его голосу, прежде чем принять, я долго привыкала. – Но пока я ещё в состоянии отыскать дорогу в своём родном городе». И если бы не мой страх перед его спесью, я бы подумала, что это хвастовство.

В одном из переулков «Кропоткинской» он поставил машину в тот вечер...

(...а всего-то нравилось мне морозными зимними днями просиживать перед леденеющим, но все ещё прозрачным окном и смотреть за сиянием улицы. Моя огромная, почти пустая квартира с окнами во всю стену – почти стеклянными стенами – продувалась ветром насквозь. Но я не чувствовала холода. Я почти забывала о нём. Мне казалось, что она парит в воздухе, покачиваясь от ветра, как пустой прямоугольный аквариум, привязанный к ветке высохшего дерева. Порывы ветра укачивали и успокаивали меня, и то, что причиняло мне страдания или боль, казалось неважным, несуществующим. Я жила в полусне. Я искажала мир вокруг себя...)

...и он даже говорил, что запомнил название переулка, в котором старые двухэтажные дома перемешались с новыми, и новые были, как чудовище Гулливер, стоящий на своих огромных, безобразных ножищах посреди кукольной страны лилипутов. На одном из домов, над входом в подвальный этаж, была вывеска «Клуб-бар», с названием из помеси русских и английских слогов. Он даже не стал вчитываться. Им двигало простое любопытство: ему хотелось посмотреть, как выглядит изнутри подвал старинного дома.

Охранники на входе с интересом оглядели его – такие клиенты никогда не заходили в этот клуб – и сказали, что «сегодня концерт и вход платный до двух часов ночи». У них были белоснежные рубашки с нашивкой «*security*» и узкие оловянные лица. От ультрафиолета, льющегося из помещения, белизна их рубашек отливала синевой. Когда он попытался заглянуть в бар, оба охранника встали перед ним и заслонили вход. Ему по казалось настолько забавным то, что его могут куда-то не пустить, что он тут же заплатил и вошел внутрь.

Внутри небольшого зала народу было человек десять. Старинная кладка стен, из – за которой он спустился сюда, виднелась повсюду из под облупившейся штукатурки. На крошечной сцене, прямо напротив барной стойки (пространство между баром и сценой было заполнено круглыми столиками), музыканты готовились к концерту, и хорошенькая, пошлая до тошноты певичка проверяла микрофон. «Раз, два...» – считала она и даже пробовала что-то напевать уверенным, сипловатым голоском. «Удачей для неё будет, если её песни зазвучат у метро из продуктовых ларьков», – подумал он и уже собрался уходить. У стойки сидели

несколько проституток, две очень молодых, лет семнадцати, остальные – без возраста. И ещё несколько девушек, пришедших в клуб, просто, что бы кого-нибудь найти, нависли над крошечными круглыми столиками и, выпив красного вина на последние сорок рублей, тщательно изучали меню.

И тут объявили концерт. Он остановился и с удивлением посмотрел на сцену, вслушиваясь в слова говорившего музыканта. Заиграла музыка и, неожиданно для себя, он, отец Тени, остался.

– Что? Что он сказал? – оглядывался по сторонам отец Тени, указывая на сцену.

Ему повторили название песни. Оно совершенно ничего не обозначало, и он с облегчением направился к выходу.

– Гром. Совершенный ум, – сказал ещё раз музыкант после проигрыша, глядя на отца Тени, и певичка почти сразу же запела...

Через некоторое время отец Тени уже сидел за столиком, и перед ним стояла официантка с крошечным блокнотиком, помещающимся на ладони.

– **Я послана Силой...** – неслось со сцены.

Когда отец Тени обернулся, певичка неумело пританцовывала, прижимая локти к бокам. Так танцуют подростки у метро под музыку из пивных ларьков. Тогда он перевел взгляд на официантку и тут же снова услышал голос, прорывающийся сквозь музыку и цветные, слепящие огни:

*– И я пришла к тем, кто думает обо мне.  
И нашли меня  
среди тех, кто ищет меня.  
Смотрите на меня те, кто думает обо мне!  
Те, кто слушает, да слышит меня!  
Те, кто ждал меня, берите меня себе.  
И не гоните меня с ваших глаз!  
И не дайте, чтобы ваш голос  
ненавидел меня, ни ваш слух! Да не будет не знающего меня  
нигде и никогда!  
Берегитесь,  
не будьте не знающими меня!<sup>18</sup>*

– Что она поёт? – спросил он официантку. Та вежливо улыбнулась, скрывая удивление, показывая крошечные ровные зубки:

– Что-то по программе вечера... – и тут же приготовилась записывать заказ в аккуратенький блокнотик.

– Я спрашиваю, что именно она поёт? – настаивал отец Тени.

– Простите... – официантка слегка насторожилась и изучающе проскользила глазами по его лицу. Она не ожидала такого внимания к их музыке. – Я не запомнила названия. Слишком много работы в баре. Но она поёт это каждый вечер. Если хотите, я уточню...

– Каждый вечер? – поразился отец Тени.

– Ну да, – официантка внимательно разглядывала его.

Певица продолжала:

*– Ибо я первая и последняя.  
Я почитаемая и презираемая.  
Я блудница и святая.  
Я жена и Я дева.  
Я мать и дочь.  
Я члены тела моей матери.  
Я неплодность,  
и есть множество её сыновей.  
Я та, чьих браков множество, и  
Я не была в замужестве.<sup>19</sup>*

Стоило отцу Тени посмотреть на сцену – и певичка замолкала, как будто бы играла с ним в игру, только с ним во всем зале. Она принималась нелепо танцевать, внимательно разглядывая, как на неё внизу смотрит публика. Но как только он отворачивался, её голос вновь достигал его. Слова сияющими потоками входили в него, пронзали его насквозь и шли дальше. Они

<sup>18</sup> \* Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".

<sup>19</sup> \* Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".

существовали отдельно от певицы, отдельно от него и даже от этого вечера и места. Они шли из вечности, и почему-то эта жизнь была у них на пути.

– Вы можете повторить? – попросил отец Тени, выходя из оцепенения.

Он прекрасно понимал, что здесь какая-то ошибка.

– Повторить что? – от растерянности официантка перестала улыбаться.

– То, что она поёт. – Я не умею петь...

– Я не прошу вас петь, – спокойно объяснил отец Тени. – Я прошу только повторить слова.

Официантка огляделась по сторонам, отыскивая охранников, и, обнаружив их в зале, неожиданно успокоилась. Улыбка вернулась на её ровное личико:

– ...но не могу никак забыть твои зелёные глаза, – разборчиво повторяла она следом за певицей. – Мой мальчик, почему...

– Спасибо, – перебил отец Тени, мгновенно все поняв. Он был умным человеком, он все понимал мгновенно. Он тут же успокоил себя и тут же заказал у официантки бутылку самого дорогого виски, и дал вперед чаевые.

Он равнодушно, без малейшего удивления, смотрел на певицу, потом отворачивался и вслушивался в слова: она пела один в один то, что только что повторяла официантка.

Он был абсолютно спокоен.

Проститутки за стойкой оживились – бар довольно быстро заполнялся. Публика была самой разной – от обычных студентов, заказывающих самое дешёвое пиво, до турок и арабов, непонятно как попавших сюда.

Он прекрасно помнил, как закончился концерт.

Музыканты разошлись, а певица почему-то осталась. Она спустилась в зал и под села к стойке в компанию студентов, и они тут же заказали ей пиво. А потом он потерял к ней интерес, он просто забыл о ней.

В течение вечера к нему подходила официантка, записывая новые заказы в свой крошечный блокнотик.

– Хотите, я вам ещё что-нибудь повторю? – попыталась пошутить она.

– Только виски, – засмеялся он.

Она принесла ему порцию виски со льдом, и оба остались очень довольны друг другом.

Он сам не знал, почему он не уходит.

Дальше – провал, но когда он очнулся, это был тот же самый бар, только совершенно пустой. Отец Тени обнаружил нескольких официантов, убирающих посуду со столов, и певицу, неизменно сидевшую у стойки. И все же ему показалось, что произошла невидимая, неуловимая подмена. Он только сейчас разглядел: на певице был рыжий парик с вкраплениями ярко-красных прядей. Искусственные волосы мягко лежали на её худых открытых плечах. На ней было чёрное шелковое платье с яркими светящимися цветами на тонких бретельках и чёрные сапоги с огромной тяжёлой платформой, делающие её изумительно высокой. И последняя деталь – она была в тёмных очках в светлой сверкающей оправе.

Он тут же понял: она выступала в тёмных очках, поэтому он не мог разглядеть её глаз.

Поймав взгляд отца Тени, она их сразу же сняла и, быстро улыбнувшись – не потому, что ей хотелось улыбаться, а просто так надо было, – подошла к его столику. Какое-то время они смотрели друг на друга.

– Может быть, позволишь присесть? – наконец спросила она. Отец Тени указал на стул, но она почему-то не села, а только положила очки на его столик.

– Хочешь виски?

Она покачала головой:

– Я не пью...

Отец Тени разглядывал ее: она была очень молодая, совсем как те проститутки, сидевшие у стойки в начале вечера. её глаза покраснели от табачного дыма и от долгой бессонной ночи, поэтому она и прятала их под очки.

– Вблизи ты гораздо лучше, чем на сцене, – сказал он.

Певица пожалала плечами:

– Так многие говорят... Чем ближе, тем лучше...

– Что ты хочешь сказать? – усмехнулся отец Тени, чувствуя над ней приятное превосходство. Ему нравилось с ней говорить.

Она посмотрела на него с сожалением:

– Только то, что ты услышал...

– Что ты там пела? – вдруг вспомнил он, чувствуя смутную тревогу.

– Хочешь, могу ещё напеть? – она улыбнулась, склонив голову, и что-то напела.

Все то, что она делала и говорила, было совершенно необязательным, она думала о чем-то важном, и отец Тени прекрасно видел это.

– Вблизи ты поёшь лучше, чем на сцене, – сказал он.  
– А я не певица, – тут же ответила она.  
– А кто ты? – ему стало забавно.  
– Никто, – сказала она, чтобы ещё больше позабавить его.  
– **Гром. Совершенный ум**, – неожиданно вспомнил отец Тени, внимательно глядя на неё.  
– Красиво... – она равнодушно пожала плечами. И вдруг стала жалкой, села к нему за столик и забарабанила пальцами по столу: – Понимаешь, мне нужны деньги...  
– Почему ты считаешь... – отец Тени медлил, чтобы посмотреть, как она нервничает. Она знала, что здесь нужно нервничать, поэтому пыталась не смотреть на него, раскачивалась на стуле и навязчиво выбивала какую-то мелодию пальцами на столе. – Почему ты считаешь, что у меня есть деньги?  
– Я их чувствую, – сказала певица. – Все нищие чувствуют деньги. Потом за вечер ты потратил столько, сколько бы мне хватило на месяц...  
– Гром. Совершенный ум, – почему-то повторил отец Тени.  
– Осторожнее, – попросила она. – Не сбивай меня...  
– Сколько тебе лет?  
– Девятнадцать, – она скорее прибавляла, чем убавляла.  
– И как тебя зовут?  
– Магда.  
– Как? – поразился отец Тени.  
– Магда... – медленно повторила она, словно втолковывала ему какое-то правило.  
– Магдалина? – уточнил он. – Тебя зовут Магдалина?  
– Можно и так, – казалось, ей все равно.  
Отец Тени тут же вспомнил, что обычно проститутки скрывают свои настоящие имена, и ему тут же стало неинтересно.  
– Может быть, виски? – снова предложил он, заполняя паузу.  
– Нет, – снова отказалась она.  
– Почему ты считаешь, что я дам тебе денег?  
– Потому что я лучше, чем стакан виски.  
– Вот как? – засмеялся он. И сразу же стало видно, что она из очень бедной жизни, и это красивое дорогое платье на ней – оно единственное. Она уже заносила его, и другого у неё нет. – Деньги должны бегать за женщиной, а не женщина за деньгами, – снисходительно сказал он.  
– Нет, – легко призналась она, – я не такая. Его слова ничуть её не задели. – И потом – это неважно.  
– А что важно?  
– Важно то, – сказала она, в упор разглядывая его, – что ты можешь дать что-то ещё, кроме денег.  
– Что? – удивился он.  
Она встала из-за стола и приблизилась к нему настолько, что он почувствовал её дыхание. Она дотронулась до его лица, провела пальцами по губам и тихо ответила:  
– Пока не знаю...  
Они ехали через утренний спящий город, который должен был вот– вот пробудиться. Уже было светло, но свет лился не дневной, а зыбкий, сероватый, как из расщелины между мирами. Сразу же после ухода ночи он заполняет собой опустевшее пространство, и только потом на смену ему приходит день.  
Отец Тени неподвижно сидел за рулем и смотрел только на дорогу, и точно так же ровно и неподвижно рядом с ним сидела девушка певица из ночного клуба, и так же смотрела перед собой. За всю дорогу они не обменялись ни одним словом.  
Без малейшего удивления она вошла в его огромную квартиру на Чистых прудах, почти сразу безошибочно отыскала спальню, молча разделась и повернулась к нему.  
Близости с ней он не помнил.  
Стоило ему только дотронуться до неё, и она тут же послушно подавалась ему навстречу. Он прикасался к ней так, как будто бежал от чего-то. Их близость была как подготовка к длительному пути, как будто бы она что-то пыталась объяснить, а он все никак не мог понять.  
Потом он провалился в сон, и тут же во сне его настиг голос. Отец Тени не знал, кому принадлежал этот голос, он не был ни женским, ни мужским, он был древнее, и слова, которые он произносил, казались неразличимы. Голос окутал отца Тени со всех сторон, он слился с ним, он стал его частью. Отец Тени не мог двигаться, он даже не мог думать, потому что мысли его были ничтожно малы в сравнении с этим голосом.  
– Кто ты? – спросил отец Тени. И тут же ясно различил ответ:

*– Я молчание,  
которое нельзя постичь,  
и мысль, которой воспоминаний множество.  
Я глас, который многогласен,  
и слово, которое многовидно.  
Я изречение  
моего имени.<sup>20</sup>*

И там же, во сне, отец Тени не смог удержаться и провалился во тьму, в пропасть, у которой не было дна. Он летел до бесконечности вниз и вдруг почувствовал толчок, и тут же понял, что наступил день.

День был ясным, зимним, он мягко разлился по комнате, осветив все её предметы. И все - таки что-то было не так. Перед ним сидела Магда с нежным, слегка припухшим ото сна личиком с тяжёлыми, лепными веками, как у готических мадонн. Она сонно смотрела на него, она боролась со сном.

– Кто ты? – с усилием выговорил отец Тени.

– Я? – она не удивилась. Она просто пыталась побороть себя и, преодолевая сон, заговорила:

*– Я та, кто во всяческих страхах,  
и я же жестокость в трепете.  
Я та, которая слаба,  
и я невредима в месте наслаждения. Я неразумна и я мудра.  
Почему вы возненавидели меня  
в ваших советах?  
Потому что я  
буду молчать среди тех, кто молчит,  
и я явлюсь и скажу тем, кто не внемлет.*

Отец Тени видел, как шевелятся её губы. Это был какой-то необязательный, любовный лепет, к которому примешивалось сожаление. Он прекрасно понимал и этот лепет, и это сожаление. Он видел её всю насквозь, девочку проститутку из ночного клуба, она вся была перед ним, как на ладони. Вот только её слова срывались с губ и, пройдя сквозь воздух, теряли прежние смыслы. Страшные и обновленные, они вливались в его уши, и он был просто не в состоянии понять и принять их. «Это ошибка», – тут же думал отец Тени, но эти слова выжигали его мысли до дна.

Отец Тени вглядывался в лицо девушки. в нём не было ничего, и оно тут же затягивало, как водоворот:

*– Я та, кого возненавидели повсюду и кого возлюбили повсюду.  
Я та, кого зовут  
«жизнь», и вы  
назвали «смерть».  
Я та,  
кого зовут «закон»,  
и вы назвали «беззаконие»...<sup>21</sup>*

Он больше не мог вслушиваться. Он цеплялся за слова из последних сил, но они проходили мимо него, и ему не удавалось их поймать. И тог да он снова почувствовал толчок и провалился во тьму...

Когда они проснулись, день уже перевалил через середину. Было часа три. Они лежали по разные стороны кровати так, как будто бы между ними ничего не происходило.

– Мы спим? – спросил отец Тени.

– Спим... – и Магда засмеялась.

Она потянулась почти по- детски и села в кровати. Она просыпалась совсем не так, как просыпаются проститутки.

– Какое странное у тебя имя, – сказал отец Тени.

– Ничего странного, – пожалала плечами Магда.

– Просто отец был поляком.

<sup>20</sup> \* Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".

<sup>21</sup> \* Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".

– А мать?

– А что тебе до моей матери? – тихо спросила она.

И вдруг он почувствовал: что-то вокруг них неуловимо изменилось.

– Мы спим... – понял отец Тени.

– Мы проснулись, – ответила Магда.

И тут же стала прежней пошлой певичкой из клуба.

– Мне приснилось... – сказала она, потягиваясь. В ней проступила избалованность и привычка нравиться.

Отец Тени с облегчением рассмеялся и перебил:

– Ты отработала свои деньги, Магда, и твои сны меня не касаются.

Магда тут же встала с постели и молча принялась одеваться, а ему слышались слова, прорвавшиеся сквозь сон:

*– Я суд и  
оправдание.  
Я, я  
безгрешна,  
и корень  
греха произрастает из меня.  
Я возжеление для  
видения, и душевная  
сдержанность есть во мне...<sup>22</sup>*

– Я мог бы сказать, что мне все равно, – и отец Тени усмехнулся, и тут как будто бы кто-то другой заговорил в нем: – Но рассказывать свои сны нескромно. Сны – это редкий дар, который дается далеко не многим. о нём принято молчать... И когда ты рассказываешь свои сны, получается, что ты похваляешься своим даром, а за это его отбирают, ты слышишь, Магда?

Она остановилась, внимательно его слушая, она хотела что то сказать, но он перебил.

– Кстати, сколько я тебе должен? – спросил отец Тени.

Она ответила.

– И все? – удивился он.

– И все...

Он отсчитал деньги и протянул ей:

– Ты получила то, что хотела?

– Да, – кивнула Магда, глядяваясь в него так, как будто бы хотела запомнить. – И даже больше...

На следующую ночь отец Тени с легкостью нашел тот маленький переулок на «Кропоткинской» с двухэтажным особнячком и вывеской «Клуб– бар» над подвалом. Все оказалось таким же, как вчера, – и даже свет на улице, и изнывающий запах московской зимы, и сырость под ногами, совсем недавно бывшая снегом; вот только клуб был закрыт на ремонт. Турки в рабочих комбинезонах срывали афиши с подвальных стен...

...Второй что-то кричал мне вслед, но я не разобрала. Его голос не смог настичь меня.

Я бежала, пока хватало сил, и даже когда их не осталось, я все равно бежала. Дыхание сбивалось, но изо рта вырывался горячий пар, и его мокрые клубы на мгновение согревали лицо.

Но самое главное – слабое зеленоватое свечение мерцало впереди, как предвестье. Я не знала, откуда оно льется в наш мир, я не знала его свойств, но я твёрдо знала одно, что если я разбегусь и с раз маху прыгну в него, я найду то, что искала.

И смутно, как сквозь сон или сквозь толщу моих засоренных суетой мыслей, пробилось воспоминание. Став прошлым много лет назад, оно растворилось в зеленоватом свечении, и сейчас почему-то пришло ко мне.

Человек пять или шесть – девочке, стоящей на углу, так и не удалось их сосчитать – бегали по льду Чистых прудов, клюшками подгоняя шайбу к самодельным воротам.

На снег катка были сброшены портфели и матерчатые сумки со сменной обувью. Лицо вратаря, закрытое хоккейной маской, казалось блестящим белым пятном в вечерних сумерках зимы. Ему нравилось на воротах. Иногда он ловил летящую шайбу не клюшкой, а просто руками. Он был очень хорошим вратарем.

---

<sup>22</sup> \* Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".

Девочка на углу мерзла и пряталась за мать в сером ватнике, валенках и платке. Мать продавала пломбир в вафельных стаканчиках, вернее, его остатки, не проданные за день.

В черном небе, мерцаая огнями, показался самолет. Девочка толкнула мать в бок.

– Чего? – нехотя откликнулась мать, прикрывая рот рукавицей, чтобы губы не обжигало холодом.

Девочка задрала подбородок к небу. Мать подняла глаза, на мгновение отвлеклась на пеструю возню хоккеистов на льду, рассердилась, что отвлекли, и уперлась близоруким взглядом в самолет.

– Ну летит, ну и чего? – не поняла мать.

Девочка захихикала и с укором взглянула на неё.

– Ну, в Сочи летит, – смягчилась мать. – Там пальмы и чёрное море.

Самолет скрылся в тумане. Сквозь толщу тумана ещё виднелись какое-то время светлые отблески его огней, но потом исчезли и они.

Девочке нравилось про море...

Со звоном по промороженным рельсам проехал трамвай.

С криком: «Последний!» они схватили свои портфели и мешки с обувью и набились в вагон, к заднему стеклу которого была прижата фанерная доска с номером 64 и перечнем остановок. Один из игроков, припав к замерзшему стеклу, расцарапал наледь чьим-то именем, но в темноте девочка разглядела только первую букву. Игрок замер в трамвайном вагоне, думая, что приписать после имени, и добавил: «Здесь был». Трамвай вздрогнул на рельсах и тронулся, открывая опустевший пруд с расцарапанным льдом, который начал медленно засыпать колкий, легкий снежок.

На льду, сжимая шайбу в сведенных пальцах, лежал оглушенный вратарь. Перед ним на коленях стоял его приятель и, рыдая, стаскивал с него маску. Это был худенький, слабый мальчишка, слабый не от бессилия, не от неразвитого подросткового тела, а от нежности. Его нежно любила мама, гладила ему рубашки по вечерам и ждала домой после уроков, а он все не шел и не шел. Вечерами он ходил на хоккей.

Мальчишка дышал на руки, чтобы хоть как то их разогреть, бил вратаря по лицу и тряс за воротник болоньевой куртки, и вдруг, вспомнив про мерзший трамвай, выкрикнул имя, нацарапанное на стекле. И девочка, стоявшая на углу, четко рас слышала первую букву.

– Тебя зовут – ...! -закричал мальчишка. Вратарь открыл глаза и сел на льду.

Девочка выглянула из – за плеча матери, чтобы лучше их рассмотреть. Не понимая, что происходит, мать прищурилась сквозь сумерки: «Сейчас, подожди, – сказала она. Она различала только их силуэты. – Сейчас они доиграют и, может быть, купят у нас последнее мороженое. Тогда мы сможем пойти домой...»

Обнимая вратаря, мальчишка тащил два портфеля, клюшки и хоккейную маску. Они шли по трамвайным рельсам и уже собирались свернуть за угол, когда девочка вгляделась в их лица. Она вдохнула – чтобы не заплакать – так глубоко, что её обожгло холодом.

Не замечая их с матерью, мальчишка и вратарь шли мимо. Мальчишка зачарованно смотрел на вратаря. «Я бы сказала тебе: «Иди ко мне!» – неожиданно позвала девочка, беззвучно, одними губами. – Но ты все равно не услышишь. Ты не услышишь меня, что бы я тебе ни говорила...» Они не могли её услышать, её не слышала даже мать, стоящая рядом.

Они остановились.

– Хочешь мороженого? – спросил счастливый мальчишка, указывая на стаканчики с пломбиром.

Девочка спряталась за мать.

Вратарь кивнул и рассмеялся.

Девочка уткнулась лицом в серый ватник матери, чтобы не смотреть на них, и даже вцепилась зубами в мягкий рыхлый рукав, лишь бы промолчать. Через мгновение она услышала звон мелочи, бьющейся о металлическую поверхность лотка, и нежный смех мальчишки...

Сияние рассеялось. Я стояла у входа в метро «Чистые пруды», а должна была стоять у подъезда собственного дома. Голос Второго затих, но я ясно чувствовала то, что остается после молчания. Воздух, растревоженный голосом Второго, дрожал вокруг меня, и хотя я уже не слышала слов, неуловимые для слуха звуки по прежнему преследовали меня. Второй колдовал, а Первый отвечал ему, и оба они пытались меня сбить.

У входа в метро сидели две девушки. Кроме меня и них на улице не было никого. Когда я посмотрела на них, они переглянулись и замолчали.

– Она пьяная, – сказала одна, пытаясь раскурить сигарету, но из-за ветра зажигалка гасла. Ветер был острым. – Ты что, не видишь?

– Какая бы она ни была, – сказала другая, – а нечего ей так расхаживать... Она не пьяная, она под кайфом...

Они походили на сестер или подружек одноклассниц, истративших в ОГИ последние деньги на пиво и сигареты и поджидающих, когда же, на конец, откроется метро. У обеих были длинные светлые волосы, расчесанные на косой пробор, только у первой пробор был справа, у второй – слева. Пламя из зажигалки не высекалось, только сыпались искры.

А я чувствовала холод. Я вся промерзла насквозь, меня колотило.

Я подошла к стеклянным дверям входа. Они прижались друг к другу и с ужасом посмотрели на меня.

– Может быть, она с кем-то поспорила? – спросила первая. – Ну, знаешь, на спор чего не бывает.

– Какое поспорила? – и вторая, цепко оглядев меня, присвистнула и постучала пальцем по виску. – Она не в себе, ты что, не видишь? её всю трясет.

Она была поживее и посообразительнее первой.

Она поднялась со ступеней и подошла ко мне:

– Послушай, – сказала она, пытаясь быть ласковой, – а давай-ка, мы тебя сейчас оденем. Где ты живёшь?

Трамвайные пути перед метро были чисты и пусты. Чугунный памятник Грибоедову и чёрные голые деревья намертво впечатались в прозрачное насквозь небо. Ровный, колючий снежок гладко блестел на железных рельсах, и тут только я поняла, что ещё немного – и я упаду от холода.

Я стояла голая на ступеньках метро, прижимая к себе ворох собственной одежды, и две подружки из ОГИ торопливо одевали меня.

Я пошутила. Они испуганно переглянулись и засмеялись, наверное, для того чтобы я не заплакала.

– «Ан –нуш– ка», – прочитала я название первого трамвая, остановившегося напротив метро, и пошла навстречу его открывшимся дверям.

– Куртку, куртку застегни! – закричала мне вслед первая девушка.

Я послушалась и даже обернулась на них, что бы проститься. Первой, наконец, удалось раскурить сигарету, и она с жадностью затягивалась, как будто бы хотела пить. Вторая растерянно махала мне рукой. Кажется, они переживали.

Трамвай «Аннушка» вез единственного пасса жира, и я сразу же узнала его.

Это был молодой продавец дисков из сада «Эрмитаж». Он тоже сразу же узнал меня, но не подал вида и отвернулся к окну.

– Я напала на след, – засмеялась я и села напротив него. Я сразу же продолжила разговор, прерванный в саду. – Очень скоро я настигну её и вытяну сюда, в наш мир. Я уже нащупала разгадку. Она проста, но пока я её не знаю. Но это пока... И ни ты, ни кто другой не сможете мне помешать...

Неожиданно он повернулся ко мне и засмеялся в ответ. Его лицо было печальным и нежным, и мне не хотелось всматриваться. Он пытался меня отвлечь. Я знала и больше не ловилась ни на его лицо, ни на мысли о нем. Одно я знала наверняка: если я встретила его, он на что-то мне указывает, и я в свою очередь что-то ему должна.

– Как тебя зовут? – спросила я, опуская глаза. Вместо ответа он положил руку за пазуху, продержал её несколько мгновений напротив сердца и вытащил пачку белых листов. Белой была только одна, обращенная ко мне поверхность. Скрытые поверхности несли на себе изображения или надписи. Он снова вовлекал меня в игру, и я поддавалась.

Что-то зазвенело снаружи, как будто бы разбилось стекло. На мгновение очаровавшись нежностью звука, он улыбнулся. Улица просыпалась.

– Я спросила твоё имя, – напомнила я.

Он тут же вспомнил и протянул мне листы.

На бульваре двое нищих, расстелив газету на скамейке, ели лаваш из ночного магазина и запивали его красным вином. У одного вино растеклось по подбородку. От этого красного подтека он на мгновение помолодел, потом раздраженно вытер рот, и время снова вернулось. Мы с продавцом дисков загляделись из окон трамвая на проносящуюся жизнь, только я помнила о нем, а он обо мне нет. И это тоже была часть игры, правила которой я узнавала на ходу.

– Тяни карту, – произнёс он одними губами, и я даже удивилась, с какой легкостью я читаю по его губам. Я вздрогнула, глядя, как они выгибаются, пытаюсь правильно произнести звуки, я почти чувствовала их на своей коже. Я взяла верхнюю карту.

Я перевернула листок, потом ещё раз. Он был абсолютно чист с обеих сторон.

– Ты хочешь обмануть меня или отвлечь, – засмеялась я. – Здесь пустота, а у тебя – какое ни какое, но должно быть имя.

Трамвай остановился. Его двери открылись. У меня была возможность выйти, и я уже поднялась, чтобы направиться к выходу, как вдруг снова взглянула на его лицо. Посередине

нижней губы шла трещинка от холода и ветра, и из неё выступила кровь. Я припала к его губам. Он даже не удивился, он слегка обнял меня, чтобы я не упала, потому что двери закрылись и трамвай поехал дальше.

Явный мир, такой устойчивый и крепкий, сейчас не имел никакого значения, он уходил из – под ног и рассыпался на глазах. Я вытянула следующий листок карту и перевернула его. Продавец дисков усадил меня к себе на колени и в первый раз с любопытством взгляделся в меня. Его лицо было совсем близко от моего. Я слышала его дыхание. Оно было ровным. Оно влажно прикосалось ко мне и согревало.

Обратная сторона листка карты изображала пересыпающиеся рубины, прозрачные, переливающиеся на солнце до рези в глазах.

– Ты опять? – засмеялась я. И снова потянулась к его губам. – Ты хочешь сказать, что твоё имя скрыто в этих пересыпающихся стекляшках?

Я зачарованно глядявалась в него, постепенно забывая о том, что я кого-то ищу.

Он, этот немой продавец дисков из сада «Эрмитаж», уводил меня от моих поисков, предлагая взамен то, что у меня уже было, и чем я не дорожила, потому что могла получить в любой момент.

– Стекляшки на солнце, – смеялась я, не отрывая от него глаз. – Неужели этим можно очароваться?

Он сглотнул, и зрачки его глаз расширились. И вдруг я поняла, что он слышит, как пересыпаются камешки. Я вслушалась следом, но ничего не могла уловить, кроме слабого дрожания воздуха. Слова Второго все ещё раскачивали его. Он по-прежнему стоял на пороге своей мастерской и что-то кричал мне вслед. В это время Первый проснулся в своей квартире на Чистых прудах, в маленькой своей комнате, сплошь заставленной книжными полками, сел на кровати и отпил глоток холодной воды из стакана.

И вдруг я увидела, как пересыпаются камешки – фальшивые рубины и изумруды, вделанные в маленькие колечки на детские пальчики.

В то утро, которое сейчас слышал продавец дисков и куда сейчас смотрела я, мы с Тенью были в луна-парке.

– Пойдем, выиграем колечки, – попросила Тень, заглядывая мне в лицо. Она потянула меня за рукав.

– Нет, сначала, мороженое, – внезапно я увидела длинный прямоугольный лоток, по диагонали которого тянулась размашистая надпись «Пломбир». Я рванулась туда, Тень побежала следом, как послушная собачонка.

– Нам пломбир, – сказала я продавщице, специально не уточняя какой. На ней был белый грязный халат, и точно такая же косынка стягивала ей волосы.

Она раскрыла лоток и близоруко взгляделась в его ледяные недра. Жара стояла невыносимая, и она специально задержала своё большое лицо над холодным паром. Я не ошиблась – это была она.

– Какой пломбир? – спросила она тусклым голосом, ещё раз подтверждая мою догадку. – В стаканчике или брикете?

Я разжала кулак, протягивая ей ладонь с мелочью. Тень уже открыла рот, чтобы ответить, но тут заговорила я:

– Где ваша дочка?

– Чего? – удивилась мороженщица и часто часто заморгала, как будто я была соринкой в её глазу, и она пыталась от меня отделаться.

Я повторила вопрос.

Тень так и осталась с открытым ртом. В этой игре она не смела перебивать меня.

– Какая дочка? – сморщилась продавщица. Ей было тяжело говорить. Холодный пар по-прежнему обдавал её лицо, она забыла закрыть лоток.

– Ваша дочка, конечно, – сказала я. – В теплых варежках и разношенных сапогах. Стоит с вами до поздней ночи на Чистых прудах и ждет, пока вы продадите... – и тут я запнулась, потому что она неотрывно смотрела на меня и её подбородок дрожал.

Тень была умненькая. Она тут же спряталась за мою спину.

– У меня нет дочки, – глухо сказала мороженщица.

– Куда же это она делась? – не поверила я. – Вы её в Сочи, наверное, отправили на самолете. На чёрное море или на Азовское, куда-нибудь под Керчь... Что ей здесь-то в Москве торчать посреди лета?

– У меня нет дочки, – медленно повторила мороженщица. – И не было никогда...

– Как же, – не слушала я. – Я же сама видела... У меня к ней дело... – меня просто трясло, и я не могла остановиться.

– Нету ее...

– Я видела! Видела...

Тень стояла за мной и подталкивала меня в спину.

– Во сне... во сне...

Она злила меня своим бормотанием.

Я посмотрела на мороженщицу: по её большому лицу текли слезы, она уже ничего не говорила, она только смотрела на меня. Я обернулась. Тень тоже готовилась заплакать.

– Ты видела во сне её дочь, – объяснила она мне. Она всегда все понимала мгновенно.

Мелочь высыпалась из моей руки, зазвенев о поверхность лотка, и мы с Тенью побежали.

Я слышала, что говорит мороженщица, хотя делала вид, что смеюсь. И Тень слышала тоже.

– И что я вам сделала? – неслось нам вслед. – Я дочку всегда хотела, а у меня её не было ни когда. Дряни вы, дряни! Что я вам сделала? Мне хотелось, а её не было... Да... А то сейчас бы бегала, каталась бы на каруселях, колечки выигрывала...

– Лебеди! – крикнула Тень и остановилась.

Она была тонкой до прозрачности. От больших почек у неё лежали чёрные синяки вокруг глаз. Вдоль лица, едва доходя до плеч, висели четыре прозрачные косички. Я позволяла ей быть рядом и следовать за мной по пятам. Мне нравилась власть над ней.

Я оглянулась в поисках лебедей, но увидела лотерею: разноцветные колечки, леденцы на палочках, жвачки – все это можно было выиграть. И я, ничего не сказав Тени, побежала туда. Я знала, что она бросится за мной. С ней можно было даже не советоваться.

В павильоне «Лотерея», задремав от жары, сидела цыганка.

– Кто их сюда пустит? – тут же шепнула умненькая Тень. – Она ненастоящая, она просто одета под цыганку.

Цыганка открыла один глаз и посмотрела на нас. Я тут же протянула ей деньги, собираясь заплатить вперед. Тогда она открыла второй глаз и предложила нам на выбор две игры. Первая называлась «Прошлое не проходит», а вторая – «Малейшие оттенки счастья». Я и Тень переглянулись, удивившись названию. Тень не имела права голоса, поэтому выбирать предстояло мне.

Испугавшись первой игры, я назвала вторую.

Цыганка кивнула и попросила громко и четко повторить.

– Малейшие оттенки счастья, – медленно произнесла я. Тень смутилась и опустила глаза.

Цыганка протянула мне пачку белых листов, сложенных, как колода карт.

Я должна была задать вопрос, а потом вытянуть ответ, записанный на обороте.

Я молчала, думая, что бы такое спросить. У меня не было вопросов к этой спящей женщине, мне хотелось как можно скорее получить колечко с рубином, что-нибудь перехватить для Тени и убежать.

Быстрая Тень придумала вопрос, но я его не услышала, настолько он был неважен для меня. Зато цыганка прекрасно услышала и улыбнулась.

Я вытянула карту из колоды. Она оказалась пуста как с изнанки, так и с лица.

– Но это обман, – рассмеялась я. И Тень тоненько захихикала. Она боялась смеяться в лицо цыганке, а я не боялась ничего или почти ничего, поэтому она и ходила за мной. – Ты не можешь ответить на вопрос...

– Мой ответ – молчание, – спокойно сказала цыганка.

Деньги за лотерею она уже получила, и поэтому ей было совершенно все равно – уйдем мы с Тенью или останемся.

Я была наглой:

– За свои собственные деньги я хочу знать ответ...

– Мы хотим, – пискнула Тень, дуря от моей смелости.

– Смотрите, как бы не пришлось заплатить больше, – тут же предупредила цыганка и зевнула. Она устала от посетителей. – Хочешь, – обратилась она ко мне, – вытяни ещё карту. Мне все равно.

Она закрыла глаза, уходя в дремоту. Я видела: ей действительно все равно, потому что будущее ей было заранее известно.

– Хочу, – сказала я.

Тень потянула меня за рукав и неожиданно заскучала:

– Пойдем отсюда... – она томилась. Сквозь открытую дверь павильона видны были карусели, и ей хотелось туда, в лодочку с головой лебедя, покрутиться на летнем ветру. Тень боялась этой старой цыганки с мохнатыми бровями и девичьими ресницами. Она была худенькая и совсем слабая, она улыбалась и тянула меня за рукав.

Я оттолкнула ее:

– Отстань...

Она упала, качнув косичками, и приготовилась заплакать, но я не обратила внимания. Я вытащила карту из колоды и перевернула её.

Я вспомнила то, чего не знала никогда: на карте было написано имя «Ариан».

– Ариан, – ещё раз прочитала я, смяла листок и бросила в лицо цыганке. К тому времени она уже успела задремать.

– Воровка, – вырвалось у меня. – Ты воровка! Я не знала тогда, что я говорю, но слова сами вырывались из меня, лились, как золотой поток воды, и я, как ни пыталась, не могла их остановить.

– И что же я украла? – спросила цыганка и улыбнулась.

– Имя, – задыхалась я. – Ты украла у меня это имя.

– И откуда же я украла его?

– Из моих мыслей...

Тень к тому времени поднялась с пола и заплакала. Я схватила её за руку, и мы побежали.

– Дура, – сказала цыганка вслед. её голос был глубоким, бархатным, как будто бы она сейчас запоет. – Ты играла в игру «Прошлое не пускает», думая, что выбрала счастье!

И она засмеялась.

Я и Тень бежали по луна-парку. Лодочки лебеди на каруселях стремительно закружились и, взмахнув крыльями, поднялись в небо.

Дальше я все отчетливо понимала: я проснулась во сне.

Я сидела на коленях у продавца дисков из сада «Эрмитаж». Он обвинил меня руками, и я была пленницей его стройных, капризных рук. Карты и листы валялись на полу вагона, на его коленях, на моих коленях, и несколько из них пристали к замерзшим трамвайным окнам. Он молчал, и поэтому я могла говорить все, что я захочу. И это было ещё одним условием его игры, которую я с каждым новым ходом безнадежно проигрывала.

– Ты слышал всё, что я видела, – сказала я, собирая последние силы. – И там не было твоего имени. Ты хочешь утаить его от меня?

Я знала, что если вытяну третью карту, то найду ответ, но я не могла не смотреть на него, и он знал это, и точно так же смотрел на меня, ни на шаг не отпуская.

Несколько сидений в трамвае были изрезаны ножом: из-под красной клеенчатой обивки торчали обрюзгшие куски поролона. Что-то щёлкнуло под нашим сиденьем, как будто бы вдруг включились часы и торопливо затикали, навёрстывая упущенное время.

Неожиданно я все поняла и даже засмеялась от радости.

– Любишь музыку, да? – спросила я, вспомнив напряжение его лица в саду «Эрмитаж», когда музыканты расходились с эстрады. – Только её одну, да? И больше ничего?

Прежде чем согласиться, он подумал мгновение, а потом кивнул.

– Мир поделится для тебя на чистые звуки и фальшивые, а все остальное не имеет ценности?

Он снова кивнул.

– Ты поднимаешь взгляд только тогда, когда слышишь чистый звук. Тебе хочется разглядеть его причину. Твой язык – это звуки, среди которых ты живёшь.

Я видела: он соглашается с каждым словом, потому что мои слова никак не разбивают правила его игры.

– Ты так смотришь на меня, как будто бы тебе интересно. Как будто бы ты придумал, что за мной стоит целый мир гармоничных звуков, точных по звучанию, и ты пытаешься их услышать.

Он даже засмеялся в ответ – так верно я прочитала его мысли...

– Ну так вот, – сказала я, – у меня нет слуха, и я не отличаю подлинного звучания от фальшивого. Я равнодушна к музыке... Почти равнодушна...

В его лице промелькнуло удивление, на мгновение он задержал взгляд на мне, чтобы проститься, и тут же потерял ко мне интерес.

Кольцо его рук ослабело.

Я нагнулась, подняла с пола карту и, перевернув её, прочитала: «Ариан»...

– Это не твоё имя, – сказала я. Я была спокойна и почти свободна. – И ты совсем не тот, за кого себя выдаешь.

Он даже не повернулся ко мне, настолько я стала ему неинтересна.

Неожиданно трамвай «Аннушка» остановился и двери раскрылись. Я встала с его колен и вышла на остановке.

И как последняя приманка – за моей спиной раздалась музыка. Она была тихая, вкрадчивая, она метила прямо в сердце, но я не обернулась. Трамвайные двери закрылись, и «Аннушка» тронулась.

А я стояла под окнами Первого.

Три ровных окна в белых пластиковых рамах на первом этаже.

Но я знала: у меня хватит сил уйти даже отсюда.

Раздался грохот – это взорвался трамвай «Аннушка», так и не доехав до следующей остановки. Я обернулась: стекла вылетели из окон и, распавшись на сверкающие осколки, улеглись на трамвайные пути, на асфальт и на заснеженную обочину бульвара.

Из глубины комнаты сквозь стекло с фотографии смотрело лицо пятилетнего мальчика с прозрачными, как подмена, глазами. Хозяина не было.

Я вспомнила нашу последнюю встречу: ночью он сажал меня в трамвай «Аннушка», который довез бы меня до метро.

– Между любовью и знанием я выбираю знание, – попрощалась я.

– Что ты знаешь о любви? – засмеялся он. Трамвай медленно тронулся, как поезд дальнего следования, отходящий от перрона. Какое-то время он шел рядом. – Знание невозможно без любви, – продолжал он. Трамвай набирал скорость, и я удивлялась, почему же он так медленно едет. – Иисус Христос сначала любил Иоанна Богослова и только потом, как следствие любви, передавал ему знание. Иначе оно не имело бы смысла.

И тогда я твёрдо знала: он ловит меня, и на этот раз, предчувствуя потерю, ещё более изощренно. Воздух состоит из ловушек и облекает их в такие формы, чтобы душа могла попасться. Воздух меняет значения и под привычные слова подставляет свои искаженные смыслы. Счастливы те, кто без потерь минует воздух.

Сейчас трамвай «Аннушка» горел после взрыва. Я слышала гудение пламени, и от его жара становилось горячо.

Со звоном треснуло стекло в окнах первого этажа.

Последнее, что я увидела, – было испуганное лицо Первого, прижавшееся к окну. Он смотрел на горящий трамвай. Получалось, что по его лицу бежит трещина. Он не видел меня. Мелкий осколок слегка посек ему щеку, как будто бы он спешил во время бритья...

\* \* \*

Тень ко мне повернулась спиной,  
Тень уже не танцует со мной.  
Какие-то речи,  
Узкие плечи,  
Эта музыка будет вечной.

*В. Бутусов*

Когда я вошла в подъезд собственного дома, стекло в окне было выбито. На лестнице и на подоконнике, и на полу лежали осколки. Я наступала на них, и они хрустели под ногами. Деревянные двери моей квартиры были расшатаны, и внизу краска сбилась от пинков...

– Давай вышибем дверь, – просила я Тень посреди зимы.

И всегда безответная Тень вдруг отказалась. Я презрительно посмотрела на неё. Она сжалась и опустила глаза, избегая моего взгляда. Я поразились: Тень ускользала. Та самая Тень, которую одиночество и тоска приблизили ко мне; а мне нравилось быть одной, но я не гнала её, я просто с ней не считалась, как не считаются с ветром, если он слабый, с атмосферными осадками и не слишком резкими перепадами температуры за окном, – та самая Тень посмела мне возразить.

Я молчала и в упор разглядывала её. Она боялась, её рот дрожал – губы прыгали вверх вниз; в глазах потяжелело от надвигающихся слез. Она изо всех сил боролась с собой. А мне было смешно смотреть на её борьбу, мне ничего не стоило победить её.

Я молчала, оставляя Тень с её страхом, и чтобы ей стало совсем невыносимо, я улыбнулась.

– Пойдем лучше на него посмотрим, – тихо сказала Тень, глядя вниз.

– Мы уже видели, – процедила я. – А вот достать не можем. Ведь ты же... – И тут я брезгливо поморщилась, – кажется, боишься. А одной мне эту дверь не выбить... – Тень молчала. – Так как мы его достанем, а?

– Хорошо, – прошептала Тень. – Я подумаю... И мы снова вошли в подъезд. На лестнице, между входом и первым этажом, был разлом в ступенях, из которого лился свет, освещающий подвал. Лампа в подъезде перегорела, поэтому узкая полоска света из щели между ступенями была единственным освещением на лестничной площадке. Мы с Тенью рванулись к лестнице, я как всегда её оттолкнула и первая припала к разлому. На дне ярко освещённого подвала, на ровном цементном полу, лежал череп. Тень ерзала и робко меня отталкивала, ей тоже хотелось посмотреть. Я хихикнула и уступила ей. Она припала к расщелине. Свет из подвала еле выбивался. Она закрыла его собой, и получилось, что вокруг головы у неё золотистое сияние.

Смутно я почувствовала тоску. С утра у меня разболелся живот, боль то отступала, превращаясь в заунывное нытье, то накатывала волнами, но до конца не отступала ни на шаг. Я тут же успокоила себя: все мои силы уходят в боль, от этого тоска. А сияние вокруг головы Тени тонко резало темноту.

– Ладно, хватит валяться, – сказала я, потому что мы лежали на ступенях. – Ты придумала, как нам достать череп?

Тень посмотрела на меня и кивнула, и даже слабенько улыбнулась.

– Ключи у дворника...

– Он не даст, – перебила я и усмехнулась. – Это все, что ты придумала?

– А дворник пьет... – я снова хотела её перебить, но не успела. – Нужно украсть водку, – на ходу соображала Тень, – всучить её дворнику и вытащить ключи, когда он напьется и уснет...

– Неплохо, – задумалась я.

– Отлично! – перебила меня Тень, которая все понимала мгновенно.

Через какое-то время я тоже сказала:

– Отлично!

И мы побежали за водкой.

Я и Тень, мы украли водку с такой легкостью, что казалось – мир в этот день как-тоуж совсем особенно подыгрывает нам.

– У тебя что, живот болит? – внимательно спросила Тень, когда мы бежали с ворованной водкой, и я согнулась пополам, и остановилась, чтобы отдышаться. Она задержалась, чтобы не бросать меня. – Останавливаться нельзя, а то они сейчас хватятся пропажи.

Прежде чем ответить, я почувствовала слабый укол тоски, но боль в животе заглушила его:

– Беги, Тень... Не жди... Я приду сейчас туда, на наше место...

Я задыхалась и чувствовала на лице капли холодного пота. Тень с жалостью посмотрела на меня, как будто бы прощалась, вытерла пот с моего лба и осторожно вынула две бутылки водки из моих рук, с такой легкостью, что мне даже не пришлось разжимать пальцы. Тень задрала майку, показав впалый живот, – улица ответила полным равнодушием, – и затолкала бутылки за пояс болтавшихся на ней штанов.

За нашими спинами выл ротвейлер, привязанный к столбу у вино–водочного магазина. Его хозяева, два утренних алкоголика, оставили его у входа в магазин, бросив на столе сумку из лопнувшего кожаменителя, в прорехи которой торчали два длинных узких горлышка водочных бутылок.

Мы с Тенью переглянулись и даже засмеялись от такого везения. В то утро мы просто пьянели от нашего неслыханного везения, и оно глушило накатывающую тоску.

Пока Тень вытаскивала бутылки из сумки, я наблюдала за входом в магазин: за дверным проемом начинались сумерки. Я видела, как хозяева ротвейлера выворачивают карманы и подсчитывают мелочь – хватит ли им на буханку чёрного хлеба и кильку в томате. Ротвейлер тем временем надрывался от лая на улице, но они не обращали внимания.

Я часто видела их по утрам по дороге в школу. Они спали на ступеньках метро или прямо на бульваре, растянувшись на лавках у памятника Грибоедову. Иногда кто –нибудь из них, разбуженный звонком трамвая, поднимал голову и сонно провожал его взглядом. Если мы встречались глазами, то я здоровалась, и они обязательно кивали в ответ. Ротвейлер неизменно их охранял. Он ни когда не спал, если они спали. Он засыпал только тогда, когда они, бодрые, пили вдвоем на лавке и что-то горячо обсуждали. Их никогда не трогала милиция, потому что один из них был писатель, а второй – режиссёр, и они собирались снимать какой-то фильм. Я проходила насквозь Чистопрудный бульвар и на углу встречала Тень с портфелем, полным учебников.

Вытащив бутылки из порванной сумки, Тень продолжала шариться в её клеенчатых карманах. Обессилев от лая, ротвейлер завыл. Точно так же, как его хозяева, он был стар, и мы совсем не боялись его.

– Хватит ещё на тушенку, – сказал первый, режиссёр, пересчитав мелочь.

– Кажется, наш воет, – вяло ответил второй, писатель, и указал на улицу.

Прищурившись от утреннего света (солнце било в дверной проем магазина), режиссёр проскользил по нам с Тенью глазами:

– Там никого нет...

– А что он так разлаялся?

– Да какие-то мелкие девки дразнят его... – и режиссёр показал мне слабенький кулак на длинной изможденной руке.

– Бежим, – наконец сказала Тень, закончив возиться с сумкой. В придачу к бутылкам она вытащила из бокового кармана со сломанной молнией кошелек и на бегу распотрошила его. Денег в нём не оказалось ни копейки, зато весь он был набит бумажками с номерами телефонов.

Иногда под цифрами стояла какая-нибудь известная фамилия, и тогда мы с Тенью смеялись и выкидывали бумажку прямо на асфальт. Весь наш путь от магазина до Чистопрудного бульвара был усеян номерами телефонов, и получилось, что все эти известные люди бегут за нами по пятам.

Я и Тень, мы захлебывались от смеха. Тень перегнулась пополам, и я испугалась, что она выронит бутылки, но она, прочитав мои мысли (они пробились даже сквозь её смех!), придерживала их руками. Она размахнулась и запустила опустевшим кошельком в памятник Грибоедову. Он упал ровно к его ногам и чавкнул множеством отделений для мелочи, как беззубым ртом. Мы заходились от смеха. Четыре тонких косички Тени раскачивалась на ветру, она икала и пыталась поймать воздух губами, чтобы вдохнуть. А я чувство вала: мой рот кривится, глаза заплыли слезами, я сделала вид, что смеюсь, и закрыла лицо. Я изнывала от боли в животе.

Писатель и режиссёр, придя на своё излюбленное место, мгновенно бы заметили свой красный кошелек под ногами Грибоедова. Эта мысль очень веселила меня и Тень. Тень поднесла кулак к губам, показывая, что пьет пустой воздух. На днях мы видели спящего режиссёра, он лежал на бульваре, положив ноги на скамейку, писатель ещё спал. Перед ним стояли две бутылки из-под водки, он нашептывал им что-то ласковое, чокался с ними и пил пустой стакан...

Но сейчас я не могла смеяться. Я отпустила Тень.

– Ротвейлер, – сказала она, – сорвется с привязи. И тогда нам придется плохо. Гораздо хуже, чем этим двум алкашам...

– Беги, – снова попросила я. – А я сейчас...

Она почувствовала, что я слабею. И побежала.

Только совсем не на наше место, а в другую сторону. Она должна была бежать вниз по Сретенскому бульвару, а направилась вверх по Чистопрудному... От изумления у меня только и вырвалось:

– Тень!

Но она не обернулась, зато остановилась.

На скамейке, закинув ногу на ногу, сидела девушка, которую я когда-то приняла за дочку мороженщицы. Я уже забыла, что она существует, я уже и не думала ни о ней, ни о мороженщице, ни о цыганке из луна-парка. Я видела её летом в толпе на лодочном причале. Она крутилась возле двух парней, дающих лодки напрокат. Они посматривали на неё, но она только улыбалась им и не подходила. Ей было столько же, сколько нам с Тенью. Может быть, чуть побольше. Я даже присвистнула – ничего себе... И тут же увидела, что нет, она хочет чего-то другого. Потом я подумала: она ворует деньги у катающихся, но их кошельки её ничуть не интересовали. Она просто заглядывала им в лица, пытаясь что-то считать, и они толкали и прогоняли её, потому что она путалась под ногами. Она мешала. Я попыталась пробиться к ней сквозь толпу, но она тут же пропала.

Тень остановилась и что-то ей сказала. Она засмеялась в ответ. Тень размахивала руками и пинала ногами воздух: я понимала, она рассказывала про красный кошелечек алкашей. Я поразилась, с какой легкостью она предаёт наши тайны. Тень даже слегка приподняла майку, показывая украденные бутылки за поясом штанов. Та, вторая, тряхнула головой и снова засмеялась. Тень дотронулась до её волос, чтобы лучше рассмотреть. У неё были крашенные волосы, вытравленные до самых корней перекисью водорода. Тень разглядела её волосы, они о чем-то договорились, и она побежала ко мне.

– Ты сошла с ума, – сказала я Тени. Тень удивилась и испугалась, скорее, по привычке.

– Это почему?

От боли у меня посинело в глазах, как будто бы повсюду, куда ни глянь, зацвела сирень.

– Ты все забыла, – сказала я Тени. – Ты забыла про ротвейлера, который рвется по нашему следу, ты забыла про дворника с ключами, ты...

Тень пожала плечами:

– Это почему? – спросила она почти спокойно. Я теряла власть над ней, и Тень это прекрасно чувствовала. Круги под её глазами стали фиолетовыми, как будто бы всё цветение сирени перелилось под её глаза, и её голос, писклявый, тоненький голосок, звенел откуда то издалека, как отзвуки из другой жизни.

Все изменилось. Сирень давным-давно отцвела, но я повсюду чувствовала её запах. Он обжигал меня, потому что воздух неожиданно раскалился, как будто бы предвещал пожар. Он должен был вот-вот раскрыться от напряжения и показать, что же в нём скрыто. И это ожидание пугало меня.

– Что с тобой? А? – звенела Тень, отдаляясь.

– Это что с тобой? – закричала я. – Что это за мелкая девка? Эта тварь, которой ты рассказала про нас?

– О чем ты? – засмеялась Тень, поняв меня с полуслова.  
– О пустяках, – засмеялась я в ответ. – Так... малейшие оттенки счастья...  
Тень вздрогнула, как проснулась, и на миг в моё зрение вернулась ясность.  
– Какая ты! – удивленно смотрела на меня Тень. – Ты вся горишь... Там в аллее никого нет...

– Эта девка, – шептала я, – дочка мороженщицы...  
– Ты тронулась, – ответила Тень.  
– Не смей так со мной говорить, – крикнула я и замахнулась, чтобы её ударить.  
– Не буду! – и Тень сжалась скорее по привычке, чем от страха. – Но у мороженщицы никогда не было дочки.

– А с кем же ты сейчас говорила?  
– Но я ни с кем не говорила.  
– Дрянь! – вырвалось у меня. – Ты даже дотронулась до её волос, чтобы посмотреть, как она их покрасила. Нас бы в школе за такое просто убили. Попробуй у нас покрась волосы. Жопа просто загрызет...

– Да, – согласилась Тень. – Жопа будет лаять – это правда... – и печально задумалась, склонив головку с тонкими косичками набок. Тень мечтала покрасить волосы в синий цвет. А Жопа преподавала у нас русский и литературу. Когда она видела нас с Тенью, её начинало трясти. – Но только я никого не трогала за волосы, – с удивлением оправдывалась Тень.

Иногда она не понимала – смеюсь ли я или говорю серьёзно, но с лёгкостью подхватывала любую игру.

– А ты не так проста, Тень, – скривилась я.  
– Я сломала сирень, одну из последних веток, – и она пожала плечами и отвела глаза, избегая на меня смотреть. – Эту белую, помнишь? Мы давно хотели её обломать...

– Но ведь сирень давно отцвела...  
– Кто бы спорил... Но это был последний куст... – и она бросила к моим ногам ветку белых слегка подвядших цветов.

– Надо же, – усмехнулась я. – К тебе не придерешься. Стоим уже час. Эти алкаши со своей Жучкой скоро растащат нас на сувениры.

– Да ты что! – почти искренне удивилась Тень. – Не прошло и минуты.  
И я посмотрела в сторону магазина: ротвейлер по-прежнему был на привязи, а писатель и режиссёр шарили по карманам в поисках мелочи.

Я поняла: за одну минуту я прожила целую жизнь. Это боль в животе раздвинула границы времени.

Мы побежала вниз по Сретенскому...  
И ещё я поняла – Тень играла в поддавки. Это не я вовлекала её в игру, а она, безропотно подчиняясь мне, нежно диктовала свои правила.

Я засмеялась. Она напряженно следила за мной глазами. Ничего не объясняя, я с размаху отвесила ей пощечину. Мгновенно все поняв, Тень зарыдала.

Я прекрасно бегала, и она, как ни старалась, никогда не успевала за мной. Дорога по Сретенскому шла под гору, и мне было легко.

Мы неслись по горячим московским бульварам, и наши ноги сами собой чертили рассказ по летней пыли, который потом следовало бы перенести на бумагу, пока он навсегда не стёрся из нашей памяти.

– А что она тебе сказала? – бросила я через плечо.  
– Кто? – Тень притворилась, что не понимает. Она задыхалась и все ещё рыдала после пощечины.

– Ветка сирени с Чистых прудов, – усмехнулась я.  
– Она умирала, – оговорила Тень и тут же поправилась, – увядала... – Она испугалась собственной оговорки, и я снова почувствовала власть над ней.

– Так что она сказала тебе о смерти? – процедила я. Каждое слово я кидала ей как подарок.  
Неожиданно для меня Тень остановилась, ещё неожиданнее оказалось то, что следом остановилась я.

Она смотрела куда-то сквозь меня, она заражала меня своим страхом, и я знала, что сейчас увижу то, что простому человеку видеть и выдержать нельзя.

– А что ты хочешь услышать? – устало спросила она чужим, совершенно незнакомым мне голосом.

И конечно, нужно было промолчать, но я помимо своей воли ответила:  
– Все... я хочу знать все...  
– **«Как рассказать тебе тяжёлую боль, тягость и тесноту, которой подвергаются умирающие?»** – и Тень вздохнула. Обе мы прекрасно понимали, что вздыхает не она, а кто-то

другой сейчас невыносимо страдает внутри неё, вместившись в её тоненькое детское тело. – *Состояние души при отделении от тела, подобно тому, как если бы обнаженному пришлось пасть в огонь, гореть и обращаться в пепел*, – голос внутри неё был кротким и смиренным. Он был, как неожиданная милость, которой мы обе не были достойны, и от этого смирения хотелось рыдать. – *Когда наступил час моей кончины, меня обступили злые духи; одни из них ревели, как звери; другие лаяли, как собаки, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозили, устремлялись на меня, скрежеща зубами. От страха я изнемогла и вдруг увидела стоящих двух ангелов, присутствие которых меня успокоило. Тогда демоны отступили от моего одра далее.\**

– Хватит... – попросила я Тень, и она бы тоже попросила вместе со мной, но в тот момент у неё не было своего голоса.

– *«Наконец является смерть, видом очень страшная, подобие человеческое, но без тела, составленная из одних нагих костей человеческих...»* \* – Тень пыталась замолчать, но её губы разжимались сами собой, выпуская слова стрелы, а моя грудь была мишенью для этих стрел. Она метила точно в сердце и каждый раз попадала.

– *«Она принесла различные орудия к мучению: мечи, стрелы, копья, серпы, вилы, секиры и другие. Смиренная моя душа вострепела от страха. Святые ангелы сказали смерти: «Не медли, разреши эту душу от союзов плотских; скоро и тихо разреши её. Она не имеет много тяжести греховной. Смерть приступила ко мне, взяла малую секиру и отсекала мне сперва ноги, потом руки; после другими орудиями расслабила мне все члены, отделив их один от другого по суставам. Я лишилась рук, ног; все моё тело омертвело, и я уже не могла двигаться. Потом отсекала мне голову, и я не могла приводить в движение головы моей, соделавшейся мне чуждою. После того она растворила в чаше какой-то состав и, приложив к устам моим, насильно напоила меня. Так горько было питье, что душа моя не могла вынести сего, содрогнулась и выскочила из тела, отторгнувшись от него насильно...»<sup>23</sup>*

Наконец Тени удалось замолчать. Она рыдала от ужаса. Она затыкала рот кулаками, чтобы больше не произнести ни слова. Она подставляла мне своё детское слабенькое личико, чтобы я снова ударила её.

Мне всегда приходилось быть сильной, а это сложно. Это сложнее, чем хлипкая, слабенькая Тень. Она была умной и всегда выбирала себе легонькие рольки. Но лучше всего быть гибкой, к сожалению, я не знала этого сразу, я не родилась с этим знанием, я получила его позже.

– Водку не вырони, – мрачно приказала я Тени. Она тут же прижала руки к животу, и мы побежали дальше. Меня потрясло то, что через несколько шагов Тень все забыла. Она болтала на бегу о том, как лучше спойть дворника, строила планы, как мы влезем в подвал и как достанем череп. Так искусно притвориться она не умела.

– Неужели ты не помнишь? – спросила я, глубоко вдохнув, чтобы не разрыдаться.

– Что? – легко переспросила Тень и удивленно посмотрела на меня.

Подул ветерок.

Мы добежали до подвала.

Дверь была заперта, но Тень пнула её ногой, и замок начал поддаваться. Он не открылся до конца, но между дверью и косяком образовался зазор, из которого сразу же пахло мокрой затхлостью и подгнившей картошкой, которую жильцы дома держали в подвале. Я оглядывалась в поисках дворника.

– Легче сбить замок, чем украсть ключи, – сообразила Тень.

– Кто бы спорил, – ответила я и сплюнула на асфальт.

Тень показала мне язык и снова пнула дверь. Зазор увеличился. Я засмеялась, скорее, по привычке.

В доме напротив, на третьем этаже, к оконному стеклу прижалось бледное, мучнистого цвета лицо. Я указала на него Тени.

– Шла бы она, – и Тень тоже плюнула на асфальт и ещё раз ударила ногой дверь. Гвозди, державшие замок, уже совсем вытянулись из деревянного косяка от ударов Тени, и нужно было сделать последнее усилие – ещё один пинок, приблизительно такой же, как по мячу, и дверь бы открылась.

---

<sup>23</sup> Монах Митрофан "Как живут наши умершие".

Лицо в окне бессильно показало нам кулак. Я снова засмеялась, увидев эти дрожащие от ярости щеки и тусклые пустые глаза цвета стоялой воды. Тень скривилась.

– Зря украли водку, – сказала я.

– Не пропадет! – развеселилась Тень и в последний раз ударила дверь с такой силой, что она открылась.

Лицо в окне билось кулаками о стекло и кричало нам проклятия. Спускаясь по подвальной лестнице, мы с Тенью просто надрывались от смеха.

– Как будто бы ржем вместе последний раз, – невольно вырвалось у меня.

– Пустяки, – отмахнулась Тень.

От ветра подвальная дверь захлопнулась, и мы остались в темноте. Я знала, Тень отвлекает меня. И Тень знала тоже.

Оказавшись в темноте, Тень начала тихонечко выть. Я подхватила. Какое то время повыли вместе.

– Жопа позовет дворника, – наконец сказала я, – или вызовет ментов.

– Она не посмеет, – отозвалась Тень из мрака.

Она ненавидела нас, наверное, больше всех, хотя мы изводили её ничуть не больше других. У нас была какая-то своя жизнь. Мы поначалу её просто не замечали. Мы с Тенью сидели за одной партой и не общались практически ни с кем. На контрольных Тень решала оба варианта, причем в первую очередь мой. А я в это время читала, держа книгу на коленях, под партой. Иногда разъяренные учителя вырывали у меня книги и вызывали в школу родителей, и им приходилось тащиться в школу хотя бы для того, чтобы забрать книги.

Однажды нас оставили дежурить после уроков, я помогла Тени составить стулья, и пока она мыла пол, я смотрела «Историю живописи», взятую в библиотеке у её отца. Правила игры в то время заключались в том, что если мне нравилось изображение, я свистом подзывала Тень, и она, бросив тряпку, бежала ко мне, потом, быстро высказав своё мнение о картине, – чаще всего она пересказывала сюжет: «... долька арбуза прозрачна от того, что лежит против света. Его мякоть – это бледно-розовый, сгущающийся до красноты, а персики и морские раковины лежат в тени, поэтому я не хочу уделять им слишком много внимания...» – и так высказавшись о картине, она должна была дожидаться моего свиста, три раза твякнуть и продолжить мыть пол.

Иногда, в зависимости от положения солнца, она вставала за моей спиной или, наоборот, передо мной и один в один повторяла мои движения. Эта игра называлась «Тень и её хозяин», в которой правила менялись безо всякой зависимости, – иногда Тень во всем подчинялась хозяину, иногда хозяин безоговорочно следовал Тени.

«История живописи» упала с парты и закрылась, ударившись об пол. Я резко обернулась. Тень обернулась следом. В дверях стояла наша дорогая учительница русского и литературы. Она облокотилась о дверной косяк и зажала зонтик под мышкой.

– На улице дождь, – и она указала зонтом в закрытые окна. Мы с Тенью мгновенно почувствовали её раздражение и поняли, она ищет повод, что бы на нас наорать. Мы переглянулись, сдерживая смех. – Я забыла зонт, – сказала она, – и мне пришлось вернуться.

Мы не отвечали.

– Ты не моешь пол, – сказала она, – а просто размазываешь грязь. А ты, вообще, – и она указала на меня, но не смогла или не успела выразить свою мысль словами. Мне очень хотелось, чтобы она по скорее ушла, и я носком туфли аккуратно перевернула несколько страниц «Истории живописи». Тень тут же подбежала ко мне и уткнулась мне в плечо. Ей хотелось знать, в каком месте откроется книга.

– Жметесь друг к другу, как эти... – сказала наша дорогая учительница. Она не видела, что мы смотрим в книгу, лежащую на полу.

– Как кто? – тут же спросила Тень и улыбнулась, глядя вниз в раскрытые страницы: Нарцисс тянулся к воде, пытаясь дотронуться до своего отражения.

От странной улыбки Тени её затрясло. Она не знала, что про нас и подумать.

– Как эти... – на её губах размазалась теплая малиновая помада... – как лесбиянки...

Мы засмеялись, и Тень обняла меня за плечи.

– А вам то что? – спросила Тень, прижимаясь ко мне. – Мы грамотно пишем сочинения, отвечаем на все ваши вопросы по литературе, и вообще, неплохо учимся... Так какое вам дело, кто мы?

Она хотела что то ответить, но тут вступила я.

– Мы тихие... Нас почти никто не замечает, а вы зачем то взяли и заметили...

Тень помахивала ногой, листая страницы в книжке, но из за длинного ряда парт было непонятно, что она делает, может быть, водит ступней по моей ноге.

– И лесбиянки – это совсем не та гадость, которую вы думаете, – снова перебила я нашу дорогую учительницу. По её лицу стекал пот. – Это просто жительницы острова Лесбос.

– Такой маленький остров в Греции, знаете? – продолжала улыбаться Тень, глядя вниз. – Вы там были?..

Неожиданно «История живописи» открылась на гравюре Густава Доре – Данте и Вергилий спускались в ад.

Тень резко отстранилась от меня и посмотрела в дверной проем. Учительница выронила зонтик и не стала за ним нагибаться.

– Вы оскорбляете нас, – холодно сказала Тень.

– И подозреваете в разной погани, – подхватила я.

– И если я скажу своему отцу, если я только перескажу ему хотя бы часть нашего разговора, то вас здесь не будет...

– Ты что, очень умная, да? – учительница подняла зонтик и размашисто шагнула в класс.

– Да, я умная девочка, – кивнула Тень, и это была правда.

– А ты кому скажешь? – обратилась она ко мне.

– А я скажу матери, – вырвалось у меня.

– Значит, ты – отцу, а ты – матери... – учительница криво усмехнулась и широким мазком вытерла помаду с губ, на её щеке остались две малиновые дорожки.

Мы сразу же поняли, на что она намекает.

– И то, что вы имеете в виду, – холодно начала Тень.

– Вас тоже не касается, – так же холодно закончила я.

– Вы две твари, – прорычала учительница, пробираясь между узкими рядами парт. – Но я ещё выведу вас на чистую воду. Я выясню ваши делишки.

– Ага, – вырвалось у меня, – рискни передними зубами.

Раздался треск, и прежде чем я успела понять, в чем дело, Тень метнулась от меня к учительнице.

– Ой, у вас зонтик упал, – и она вежливо подала ей зонтик, которым та крушила стулья, составленные нами на парты.

– Ещё немного – и вы опрокинете ведро с водой, – вежливо подхватила я.

– Твари, – прошипела учительница и выхватила зонтик из рук Тени. – Ну, мы ещё поговорим! Мы ещё поговорим... – И она направилась к дверям.

– Не поскользнитесь, пожалуйста, у порога, – мягко предупредила Тень. – Там мокро...

– «Но лесбиянка прекрасная на другого глазеет...» – вспомнила я.

– Сапфо, – сказала Тень.

– Нет – кто-то другой... Анакреонтическая лирика...

Она шла по коридору и кляла нас с Тенью.

– Знаешь что, – сказала я, когда её шаги и голос смолкли. – Давай теперь называть её – Пизда.

– Не стоит, – Тень была более человечной. – Конечно, ей нужно дать какое-нибудь имя, но...

– Она заслужила название, – тут же подхватила я. Тень раздула щеки и затрясла лицом.

– Неплохо, – усмехнулась я.

– На что это похоже? – загоготала Тень. Я пожала плечами.

– На жопу. Её морда похожа на трясущуюся жопу. Так мы стали её называть.

Но мы говорили о ней редко, только когда видели. Окна её дома выходили в тот же двор, что и наши. Но долго мы не помнили о ней...

– Ну что, – сказала я Тени, – пойдём возьмем наш череп?

– Страшно, – пискнула Тень из темноты.

– Ты хотя бы свет включила.

– Можно, – согласилась Тень и, немного повозившись, щелкнула выключателем.

Мы сидели под лестницей, ровно под трещиной в ступенях. Из трещины в подъезд лилась полоска желтого света, но мы сидели внизу, а подъезд был над нами.

Неожиданно я почувствовала тоску. Она вступила остро, как зубная боль. Я не знала, куда от неё деться.

Тень наблюдала за мной, слегка склонив голову набок. Я знала, когда она так замирает, она думает что-то необычное.

– Ты что, изучаешь меня? – спросила я.

– Нет, – и Тень испуганно отступила. – Вот он, наш череп...

Тень обернулась, куда я указывала. За её спиной лежала старая хоккейная маска. Она подняла её, осторожно приложила к лицу, потом отдернула руку, а маска снова упала.

– Почему так? – спросила я.

– Подвал глубокий – и зрение искажилось. Думали – череп, оказалось – вон что... – Тень была слегка разочарована.

Я посмотрела на нее: в этом подвальном свете, странном, как её мысли, её лицо тоже искажилось. Оно не стало ни хуже, ни лучше, оно стало другим. Она отдалялась от меня.

«И здесь ловушка», – тут же поняла я.

– Что ты чувствуешь? – издали спросила Тень.

Я запнулась, прежде чем ответить. Хотела сказать: «Тоску», но у меня вырвалось:

– Утрату... – но она поняла, что я имела в виду. Она всегда понимала меня без слов.

Тень отошла в глубь подвала и снова склонила голову набок.

– Да ты что! – она пыталась меня рассмешить, не рассмешить даже, а запустить мои мысли в другом направлении, она достала из-под майки две бутылки водки, как оказалось, совершенно бессмысленно украденные нами, и поставила их с двух сторон от хоккейной маски.

– Гол! – сказала Тень и вызывающе посмотрела на меня.

– Прошлое не проходит... – почему то вспомнила я название игры, в которую нас когда-то заставила играть цыганка.

– Не пускает... – поправила меня Тень и снова повторила: Гол! – придвинув бутылки ещё ближе к маске. У маски был вытянутый, улыбающийся рот и узкие прорезы для глаз. Я вспомнила, я когда-то знала это, только не знала почему, как цепенеет замерзающее лицо вратаря, и когда над вратарем склоняются игроки, маска улыбается им навстречу.

Тень прижала локти к бокам и стала приплясывать и приседать, показывая, как мы танцевали в туалете, прогуливая урок Жопы. Я вяло засмеялась, легла на пол и, подтянув колени к лицу, повернулась на бок.

Тень с любопытством следила за мной из-за угла. Мне кажется, что в тот момент она не чувствовала тоски, она чувствовала, что я тоскую, и поэтому слегка грустила из-за меня. О чем она думала, я так никогда и не узнала.

Вдруг я почувствовала толчок, какая-то внутренняя сила проснулась во мне. Я почти увидела её, не явно, как привыкла ощущать жизнь вокруг, а взглядом, обращенным внутрь. Она – ярко-красное кольцо, алое посередине, горячее и пульсирующее, и темно-бордовое, сгущающееся до черноты по краям. Эта сила разливалась по мне, как тепло после мороза, захватывая все больше и больше моего нутра и напрочь выжигая черноту. Я чувствовала, как она вытекла из моих пальцев, как она струилась из меня, заполняя собой затхлый подвал.

– Как все сияет, – поразилась Тень. Её голос звучал эхом откуда-то издали.

Я вскочила. Тень вскочила следом.

– Играем в игру «Тень и её хозяин», – объявила я. Тень засмеялась, согласившись.

Одежда мешала мне. Она останавливала течение силы, она была препятствием, и силе приходилось пробиваться сквозь неё.

Я стянула свитер и футболку, потом джинсы и колготки, сбросила все, что на мне было.

Тень разделась следом, ничуть не удивившись. Мы замерли, голые. Несмотря на сырость, мы не мерзли. Я не могла стоять на месте. Я нагнулась за хоккейной маской, или, может быть, она сама прыгнула ко мне в руки. Я прижала её к лицу и стала танцевать. Мне нравилось пробегать между двумя расставленными бутылками водки, не задевая ни одной из них. Приподнявшись на носки, Тень бегала кругами по подвалу. Приглядевшись, я поняла, она бежит по спирали, её круги сужались все больше, все сильнее – и вот в центральной точке, как раз между двумя бутылками водки, она должна была остановиться.

Кажется, она что-то пела. Я не помню слов. Но всякий раз, как только я должна была задеть одну из бутылок, она вскрикивала: «Гол!», тем самым предупреждая меня.

Сила разливалась по всему моему телу. Если бы меня в тот момент облили водой, вода бы, наверное, зашипела, испаряясь на коже. Особенно на сгибах тела. Разлившись по суставам, сила гудела. Мне казалось, что сейчас я полечу. И я тут же поняла, что нет ничего проще, – нужно только от толкнуться от пола, сразу же оторваться от него и повиснуть в воздухе. «Ведь я же в маске, – тут же подумала я, – если я полечу над городом, меня никто не узнает...»

Запрокинув голову, Тень кружилась, размахивая руками. Я засмеялась, глядя на неё. Она вполне оправдывала своё имя: хлипкий каркас костей был окутан голубоватой паутинкой кожи, слегка чернели подмышки от разрастающейся растительности, и по лобку тянулись две красных царапины от бритвы – это Тень подражала чьей-то чужой, подсмотренной ею, взрослой жизни.

– Прощай, Тень, – крикнула я, раскачиваясь на гудящих ногах. Мне казалось, что вместо голени у меня сейчас пружины. – Прощай, милая. Увидимся ли мы ещё когда-нибудь... – заходила я.

Она смеялась, продолжая кружиться.

– Прощай, – бездумно крикнула она.

Я засмеялась от счастья – больше меня ничего не сдерживало. Я разбежалась, готовясь к прыжку, и вдруг Тень резко затормозила. Она остановилась так внезапно, что покачнулась и упала. И вдруг, обняв меня за ноги, зарыдала:

– Останься, – умоляла она. – Прошу тебя, останься, – и целовала мои ступни.

А я не могла остановиться. Я пинала её ногами в лицо, пытаюсь вырваться. Каждое её прикосновение обжигало меня, как спирт – горящие раны. её прозрачные плечики вздрагивали где-то внизу на цементном полу подвала, но я не чувствовала жалости, я чувствовала ужас.

Тайным внутренним зрением я видела совсем другое: тело моего детства бессильно упало к моим ногам и извивалось на полу рядом с Тенью. Одно временно проснувшись утренней боль в животе. Она стала так невыносима, что я даже не могла закричать. Я заскулила. Я чувствовала в ногах такую тяжесть, как будто бы за них цеплялась не крошечная Тень, а неподъемный проржавевший якорь.

Тело моего детства умирало. Из последних сил я прижимала к лицу хоккейную маску, чтобы Тень не видела, что творится со мной. Неожиданно успокоившись, она поднялась с пола, но дело уже было далеко не в ней. Внутренним зрением, почти явно, я видела, как сжалось на полу Тело моего детства, преодолевая боль. Его тонкие ручонки царапали пальцами цемент пола.

– То, что ты видишь, больше того, что ты видишь, – сказала Тень, собирая с пола раскиданную одежду. Она была совершенно спокойна.

И тут я почувствовала, что подступает смерть. Боль в животе слилась в крошечную точку и стала уже не болью, а концентрацией боли. Она сжималась до тех пор, пока не взорвалась. Я почувствовала удар и вскрикнула, хоккейная маска выпала из моих рук, открывая перед Тенью моё лицо. Она вскрикнула от такой откровенности, а у меня уже не было сил прятаться. Хоккейная маска раскололась пополам. По моим ногам струилась кровь. Тело моего детства умерло навсегда.

– Кровь! – закричала в ужасе Тень. – У тебя кровь!

Она схватила в охапку свою одежду и выбежала из подвала. А я осталась одна со сломанной хоккейной маской и Телом моего детства, безжизненно лежащим на полу.

С улицы, как со дна колодца, слышался плач убегающей Тени.

А я почему-то представила себе утро в слабом зеленоватом свечении только что наступившего лета. Оно нежное, оно болезненное, в любой момент оно может прекратиться – его могут залить дожди или присыпать поздний майский снег.

Тень и Тело моего детства держались за руки и убегали от меня по траве. Я видела только их спины, нечетко, как рябь на воде или воспоминание о случайной нежности. Никто из них не захотел обернуться на прощанье. Они уходили навсегда.

Я не знаю, сколько я просидела в подвале. Я свернула майку и засунула её между ног, чтобы кровь впитывалась, а не бежала по ногам.

Неожиданно дверь в подвал открылась. Я равнодушно обернулась, услышав скрип. Дверной проем почти полностью закрывал дворник.

– Сука, – сказал он, тускло глядя на меня, и икнул. – Ты зачем сбила замок? Сейчас я тебе... – и он замахнулся. В руках у него была связка ключей и сорванный замок... Он покачнулся и чуть не упал. – Ты чего? – с ужасом вглядывался он в меня. Я сидела на полу голая, зажимая окровавленную майку между ног. – Тебя что... это? – он оцепенел, подбирая слова. Ему было тяжело думать. – Тебя изнасиловали?

– Водка, – ответила я и указала на бутылки на полу.

Он тут же перевел глаза на них. Его взгляд чмокнул и отлепился от меня, как резиновая присоска, и тут же приклеился к бутылкам.

– Сейчас схожу за помощью, – сказал он, уходя и унося с собой водку.

Я с облегчением поняла, что он никуда не пойдет, и снова осталась одна.

Ровно через три дня родители увезли Тень в Берлин. Она приснилась мне на девятый и сороковой день после отъезда. Из этих снов я не помню ничего, кроме её присутствия в них.

На прощание мы не сказали с ней ни слова. Больше я не видела её никогда. Моя мать несколько раз приезжала в Берлин, но она ничего мне не рассказывала, ни одного слова.

– Ты была в Берлине? – спросила я её через день после возвращения.

– Не в Берлине, а в Париже, – устало ответила она и добавила, чтобы я замолчала: – Там в чемодане для тебя новая одежда...

Она отпила кофе и прикрыла глаза, что-то вспоминая.

Я раскрыла чемодан. Ко всей одежде, которую она привезла, были пришиты бирки «Fabrique` enFrance».

Я очнулась перед дверями собственной квартиры. Часы показывали, что я простояла в подъезде ровно три минуты линейного времени. Одновременно за эти три минуты я прожила жизнь длинной в несколько суток. Это означало, что время сдвинулось и стало двигаться не по прямой, как я привыкла, а зигзагами, надолго застревая в прошлом и едва двигаясь или вовсе останавливаясь в настоящем. Оно стало подобно дереву с ветвящимся стволом, а мы, как насекомые короеды, ползли не только по стволу, но и заползали на ветки, а потом возвращались обратно на ствол, а не которые так и оставались на ветках – это значит, оставались в прошлом, моем прошлом, или существовали параллельно. Но никто из нас, находясь в извилинах древесной коры, не видел самого дерева. Оно так и представлялось нам темной дорогой с лабиринтами, передвигаясь по которой, мы прогрызали новые ходы.

...Их голоса боролись в моей комнате. Они вырывались с автоответчика вдогонку друг другу.

Стоило замолкнуть голосу Первого, как тут же звонил Второй и записывался на автоответчик. Их голоса клубились в воздухе, они переплетались в иероглифы, которые мне не хотелось читать, и взлетали к потолку. Они прятались в трещинах краски, пытаясь проникнуть в мои сны.

– Я был счастлив с тобой, – говорил Первый. Его слова плыли через мою комнату и, прикасаясь к стенам, стекали вниз, пытаясь впитаться в поверхность. – Я был счастлив с тобой – а ты ушла. Вспомни меня – да ты и не забывала, я знаю! Я подавлял в себе все свои желания, я пытался убить их на корню. Я просто ложился рядом с тобой и связывал тебя, чтобы ты не дотрагивалась до меня. А сам я не касался тебя, как ты просила. Я только говорил с тобой. Помнишь, ты любила меня слушать? я только говорил и больше ничего. Возьми трубку, ведь я же знаю, что ты дома... Девочка моя, возьми трубку...

Вся моя комната была напитана его голосом. Он был нежным, его голос, он был порочным, и когда он замолкал, я чувствовала жажду. Из него хотелось выманить слова или вымогать их – это становилось неважным, лишь бы он не умолкал.

– Ну хорошо, я расскажу тебе, – продолжал Первый, – только возьми трубку, ведь я же знаю, ты слышишь меня. Ты стоишь и ждешь, что же я скажу дальше. Когда становилось невыносимо, я просто вставал и уходил, а ты засыпала. Ведь ты же сама все знаешь. Пока ты спала, я просто слегка ослаблял веревки, чтобы твои руки не затека ли. Но я никогда не развязывал их до конца. Мне нравилось, что ты связана. Я привязал тебя к себе. Я буквально привязал тебя к себе, а ты даже и не представляла, как много это значит. Ты не могла без меня... А теперь – возьми трубку.

Каждое его слово имело свой цвет, вкус и запах. Его слова выстраивались в мозаику. И я уже видела раскаленный от лета и зноя воздух Кишинева. Он, Первый, стоял на платформе, и сначала я не поняла, то ли он встречает кого-то, то ли сам собирается уезжать, я даже не смогла прочесть, куда идет или откуда только что пришел поезд. Две нищенки молдаванки, мать и дочь – девочка лет шести, побирались на перроне. Они сидели прямо на асфальте, перед ними стояла пивная банка для мелочи, и у девочки в руках было два персика. Один она уже надкусила, а второй был пока ещё совершенно гладким, с узким листиком на черенке.

– Ты знаешь, – сказал Первый с автоответчика, – недавно лопнуло стекло. Окно в комнате, куда ты стучала, чтобы я открыл тебе дверь, помнишь? Теперь по стеклу бегут трещины в разные стороны. Одна, основная, как ствол, и от неё тонкие ответвления. Взорвался трамвай как раз напротив моих окон. Террористы, ну ты же знаешь... Ты же помнишь эти взрывы в метро, в самолетах, теперь вот трамвай...

Мать-нищенка, поняв, что он засмотрелся на неё, подняла к нему темное иссушенное солнцем лицо и что-то сказала, указав на пивную банку. Я не знаю её слов, тогда они слились для меня со звуками зноя Кишинева. Он повторил вопрос, бросив мелочь на дно. Мелочь зазвенела. Мать была очень молодая, лет восемнадцати. Девочка, походившая на неё, выглянула из-за её плеча. Ей нравилось, что у него почти такие же длинные волосы, как у них с матерью. Такие же волосы она видела у молодых калек, живших вместе с ними все лето в фургонах возле болота. У них были точеные, почти девичьи лица с мягкими падающими на плечи волосами и изувеченные тела.

– Куда вы поедете? – наконец расслышала я. Его голос с трудом прорывался ко мне сквозь зной Кишинева.

– На заработки в Румынию, – легко ответила мать нищенка. её слова были гораздо легче его слов, они были намного моложе и бескорыстнее. Они никого не губили. Они с легкостью прошли воздух и оказались на поверхности.

– Осколок порезал мне подбородок, – и Первый чему-то засмеялся. – Похоже на глубокий порез от бритвы... Ведь ты помнишь, скажи? Я торопился на встречу с тобой и поранился бритвой. Я ждал тебя у Грибоедова, а ты не пришла. Я долго прождал, я знаю, ты опаздываешь.

А ты в тот раз неопоздала, ты просто не пришла. Я искал тебя в ОГИ, я пошел в «Летчик», я истратил все, для того чтобы меня пустили туда, куда ходишь ты, а ты не пришла... У меня нет ничего, даже сил...

Девочке нравилось следить за его волосами, ветер раздувал их, и они жили отдельно своей жизнью с ветром и запахами лета. Они читали запахи, которые приносил ветер, и впускали их в себя, как мы впускаем в себя чужие слова и мысли. И только в его лицо девочка стеснялась смотреть. Она осторожно бросала взгляд, но его глаза тут же чутко отвечали ей, и она пугалась такого понимания и сразу же пряталась за мать. Он заговорил с матерью только для того, чтобы лучше рассмотреть девочку. У неё была короста на голых грязных ногах. Она падала как все дети и разбивала колени в кровь, и её кровь на коленях засыхала точно так же, уравнивая её со всеми остальными детьми.

Мать смотрела сквозь него, думая о Румынии, а дочь смотрела на его волосы и на ветер.

Он что-то сказал девочке, та отвернулась и не ответила, выставив вперед руку с персиком, как препятствие между ними. Он взял персик из её рук и поднял его на свет. Сок стек за рукав рубашки и побежал по руке. Он скривился, глядя на светлое пятно на белой материи. Девочка выглянула из-за плеча матери, решив больше не прятаться, засмотрелась на медленно отходящий поезд и забыла о нем, и он уже должен был её рассмотреть, но вместо этого шагнул в вагон, на котором я, прежде чем рассыпалась мозаика, успела прочесть «Кишинев-Москва».

Пока шел поезд, видение таяло. Оно расходилось, как рябь на воде, но что толку? оно впитывалось в стены моей комнаты и неминуемо становилось её частью.

– Возьми трубку... – голос Второго оказался в этот раз резким и чужим, как морская галька, просыпавшаяся на шоссе на бегу к автобусу. – В конце концов, вся твоя беготня – это смешно. Ты сама-то хоть знаешь, чего ты хочешь?

– Что ты можешь знать про мои желания, – усмехнулась я в ответ.

Я вспомнила концерт в переходе на «Арбатской», и снова раздался телефонный звонок, и автоответчик просто засмеялся голосом Второго. Один только смех, без слов... и это была его ошибка.

Мы стояли в переходе рядом, и сначала я не замечала его, до тех пор, пока он не встал передо мной и не закрыл от меня музыкантов.

Я попросила:

– Отойди...

Он слегка подвинулся, скорее, капризно повел плечом, сбрасывая мою руку с себя, и я опять ни чего не увидела. Я могла разглядывать только его спину, иногда – вполборота лицо, если он вдруг оборачивался, – и толпу слушателей вокруг музыкантов, и толпу их телохранителей-почитателей, сидящих и стоящих вдоль стены, у которой они играли.

Я сразу поняла, он показывает мне себя, и сейчас он со мной заговорит или выманит из меня первые слова, поэтому я не смотрела на него. Про него все почти сразу же стало понятно.

Мне понравились гитарист и вокалист. Они чувствовали друг друга через музыку. Музыка связывала мысли одного с голосом другого. Она была, как набегающая волна, выравнивающая берег, – стоит воде прикоснуться к берегу, как изборожденный ветром песок сразу же разглаживался.

Я вспомнила, как в одном из снов я считала волны, стоя на берегу. В том сне не было ни одной похожей волны, не было даже волн близнецов. Ветер сбивал воду в складки, приподнимая их над морем, и пена спиралью закручивалась на сгибах воды. Иногда пена перекручивалась, превращаясь в кипение воды, а иногда едва показывалась на гребне, как намек на изгиб. Море повергало меня в оцепенение, а меня для моря просто не существовало. «Точно так же мои сны, – подумала я, – накатывают на меня по ночам, а наутро шторм стихает. И как я не могу запомнить ни формулу волны, ни рисунок её изгиба, так я забываю мои сны. Они уходят из моей памяти под утро, как вода во время отлива...»

Такой была их музыка – гитариста и вокалиста, и как мгновенный, белым по синему, росчерк от полета баклана, поцарапавшего небо, вступал ударник.

Никого из них я не могла разглядеть целиком – Второй закрывал их от меня. Он был как препятствие между мной и снами. Но тогда он ещё не был Вторым, и я никак его не обозначала. Дело в том, что пространства между Первым и Вторым тогда ещё не существовало.

Во сне про море, прежде чем проснуться, я просчитала, что каждая тридцать третья волна повторяет первую. Она почти её двойник, как отражение в слегка изогнутом зеркале. Между первой и последней волной проходил цикл разнообразных волн, они создавали пространство, в котором ветер вспенивал воду. Последняя, самая сильная волна окатила меня с ног до головы, я запомнила её, как запоминала некоторые сны. И проснулась.

Музыка по-прежнему продолжалась. Я пыталась отеснить Второго, чтобы разглядеть музыкантов, но увидеть смогла только барабанщика. Я даже засмеялась: мы смотрим на

бакланов, чаек и альбатросов сквозь клетку зоопарка среди зимы в Москве, чтобы хотя бы на секунду подумать о море.

– Близнецы, – наконец повернулся ко мне Второй.

Чтобы не смотреть ему в лицо, я посмотрела, куда он указывал.

Они были, как раздвоенное солнце. Одна сидела на корточках, прислонившись к стене перехода, другая стояла с противоположной от музыкантов стороны и пыталась раскурить сигарету, но из её зажигалки никак не высекался огонь, только сыпались мелкие искры. Первая охраняла гитариста, вторая – вокалиста. Их лица, точно так же, как их одежда, едва уловимо отличались.

На одной был чёрный шарф, на другой – красный. Но обе были в шарфах. Или темные волосы одной подражали более темным волосам другой – упав на плечи, мягко закручивались на концах и беспорядочно спутывались, потому что обе сестры постоянно убирали их с лица. Они походили на детскую игру, в которой на двух почти одинаковых картинках нужно было найти и пересчитать отличия.

– Просто когда одна душа совершенна, её повторяют несколько раз и посылают на землю, – сказала Второй. – Так появляются близнецы.

Я знала, что это не так, но очаровалась. Мне захотелось продолжить разговор.

– Ты быстро очаровываешься людьми и потом точно так же быстро о них забываешь, – заметил Второй. – Тыловишь людей и почти сразу же их предаешь.

Я знала, что он прав или почти прав, но молчала. Его разговор заслонил музыку, близнецов и желание разглядеть музыкантов у разрисованной стены.

Он засмеялся точно так же, как сейчас смеялся на автоответчике.

– Каждый человек, которого ты встречаешь, указывает на какие-то качества в тебе, – нечаянно проговорился Второй и назвал своё имя, но оно было неважно.

Он пытался перенаправить мои мысли.

Близнецы указывали на зыбкость, на двойственность мира.

Во сне про море небо было его сиамским близнецом. Облака, как рябь на воде, вспенивались на его гладкой поверхности, птицы повторяли рыб, но самое главное – солнце. Если на него находило облако, оно не разрезало, а раздваивало его, таким образом солнечный диск оказывался с двух сторон от облака, и становилось непонятно, где реальный мир, а где его отраженный двойник.

Из освещённого перехода мы поднялись на улицу. Улицу заливали желтые сумерки.

Так в моей жизни появился Второй.

Оба они – и Первый, и Второй – несли в себе какое-то знание, за каждым из них стояла история или целый лабиринт историй. Но мне нужна была только малая часть – крупица от одного и от другого, случайно составив которые, я открывала, но ещё не до конца, – я только приоткрывала целый мир, начинающийся с легкого зеленоватого свечения, и не успевала его разгадать. Он ускользал, и его свечение ослепляло. Мне нужна была от них только малая часть, а я нужна была им полностью.

Я попыталась вспомнить лицо девушки, бегущей по переходу. Смех Второго напомнил мне о ней, о том, что я искала её, а они сбивали меня со следа, они отвлекали меня своими историями. Они умело расставляли ловушки, заполняя мой ум мыслями о себе, и рвали меня на части.

Я не могла представить себе её лицо полностью. Я видела глаза, лоб, брови, начало переносицы, но нижняя часть так и оставалась неразличима. Или появлялись скулы, линия рта и подбородок, но составить обе части лица мне не удавалось, все растворялось в зеленоватом свечении, а потом исчезало и оно.

Первый и Второй закрывали её от меня, и она перестала ко мне приходить. И даже когда я повторяла про себя их оговорки, которые я называла «ключом», она не появлялась. И теперь, когда я слышала голоса Первого и Второго, рвущиеся с автоответчика, они не забавляли меня, как раньше, я уже не смеялась, я злилась до ненависти.

### *(Магдалина)*

*Солнце уже даже не изнуряло её, она просто научилась пропускать его сквозь себя, не замечая.*

*Так целыми днями она просиживала на краю пустыни, внимательно вчитываясь в рукопись, оставленную у неё, стараясь ни на что больше не отвлекаться до тех пор, пока не наступала ночь, и чтение становилось невозможным.*

Мимо неё один за другим проходили караваны верблюдов, поднимая песчаную пыль, застилающую небо и землю. И даже когда караваны исчезали за горизонтом, пыль оставалась, как неподвижная завеса в древнем храме.

Но она не смотрела на караваны. Она не смотрела по сторонам. Она просто не могла больше тратить силы на внешнее.

Никогда ещё она не была такой сильной.

После смерти Учителя она продала все, что у неё было, и, разделив вырученные деньги между нищими и слугами, поселилась в небольшом доме на границе земли и пустыни.

Ей нравилось, что дом стоит в саду, а через сад течёт ручей.

Получалось, что каждый день она читала рукопись на границе двух миров – с одной стороны слышался плеск ручья и прохладное спокойствие сада, с другой – песчаная пыль плотной завесой закрывала раскаленное небо.

Она не могла пропустить ни одного слова из рукописи.

Ее Учителя больше не было в этом мире.

Однажды, когда облако пыли рассеялось, она заметила двух мужчин, похожих на купцов, бредущих через пустыню, и сразу же забыла о них.

Она бы забыла о них навсегда, если бы теперь в один и тот же час каждое утро они бы не проходили ли перед ней. Иногда они останавливались, и один, указывая на неё, что-то говорил другому. Другой кивал в ответ, и они замолкали, по-видимому, думая, подходить к ней или нет, но каждый раз шли дальше.

Она не могла тратить силы на них и ни на кого. Она должна была понять и принять рукопись, хранившуюся у неё, до конца.

Однажды, вместо того чтобы как обычно пройти мимо, путники направились к ней. Она внимательно читала, но слышала, как скрипит песок под их ногами и как они коротко переговариваются между собой. Она различала только их голоса, пропуская значения слов. Она не могла отвлечься ни на мгновение.

Путники приближались.

Но она видела перед собой только слова рукописи и, краем зрения, белый раскаленный песок пустыни, и полы их одежд, и сандалии с кожаными ремнями, присыпанными пылью.

Они подходили все ближе, и звуки их голосов уже почти сливались в слова, но она не могла и не хотела вслушиваться. Она боялась пропустить другие слова, лежащие перед ней.

И только когда они подошли вплотную, и стало невозможным не заметить их, она с усилием подняла глаза.

Один из купцов спросил её имя.

– Моё имя Мария из Магдалы, – тихо ответила она и снова хотела углубиться в чтение, но второй купец сказал:

– Мы видим, Мария из Магдалы, что ты испытываешь определенное затруднение.

– Я безутешна, – сказала женщина. – Я думала, что поняла все, что говорил мой Учитель, но оказалось, что я ничего не знаю. И теперь, когда Его больше нет в этом мире, никто не сможет ответить на мои вопросы.

– Судя по почерку, рукопись, которую ты читаешь, принадлежит моему другу Фоме, – сказал первый. – Я встретил его недавно по дороге в Египет. Может быть, мы можем помочь тебе, Мария из Магдалы?

Вдруг стала вести себя смешно, как в детстве. Меня клонило в сон, но я пыталась бороться. Я вырвала из записной книжки телефонный номер Первого, и найдя несколько его (наших с ним) фотографий в ящике стола, сложила их вместе, и, пытаясь пересилить сон, разрешила на мелкие части. Я вытерла рот, чтобы этот запах вокруг губ (он опять начал проявляться!) исчез совсем.

Я открыла окно, чтобы выбросить обрывки бумаги и запах, и заметила во дворе двух продавцов компакт дисков из сада «Эрмитаж». Старик продавец вез в каталке немого юношу, которого я последний раз видела в горящем трамвае «Аннушка». На его коленях стояла пустая пивная банка для мелочи, как у девочки-молдаванки с кишиневского перрона. Они ездили кругами по моему двору и смеялись. Тот, что вез каталку, склонившись, шептал что-то на ухо немому. Немой в ответ достал флейту и заиграл. И оба посмотрели на меня.

«Твоё тайное имя Ариан», – думала я о Первом.

– Несколько раз его пробовали у тебя украсть, но я, насколько могла, пресекала попытки. Сейчас я борюсь со сном, но, кажется, он одолевает меня. Ариан был ловцом душ, но он ловил души для Христа и умер за Него в Древнем Риме, ты тоже ловец душ, но тыловишь их для себя. Ты напиткиваешь их собой, и в них ни для чего другого просто не остается места...»

Я выбросила в окно обрывки бумаги и фото графий. Белые и цветные, они тут же разлетелись на ветру. Продавцы дисков остановились, немой оторвал от губ флейту – и смотрели

им в след. Я выбросила им горсть мелочи. Она со звоном рас катилась по двору. Тот, что вез коляску, собрал её и бросил в пивную банку на коленях немого. И они тут же уехали. Больше я ничего не была им должна.

У меня никогда не было телефона Второго. Он всегда звонил мне сам и сам находил меня. Точно так же у меня никогда не было его вещей.

Мне было интересно, успею ли я дойти до кровати прежде, чем окончательно провалюсь в сон.

Мне захотелось попасть в сон о море, где я считала волны, стоя на белом песке, на самой границе, когда он начинал темнеть от набегающей воды.

Последнее, что я увидела, прежде чем заснуть, были исписанные листы, придавленные раковиной, чтобы их не унесло ветром. Они лежали на обломке дерева, которое когда-то давно вынес шторм и успело просушить солнце. Несколько листов было впутано в корни. Ветер загибал их углы в разные стороны, показывая мне-то лицо, то изнанку. Я уже стала разбирать буквы и складывать их в слова, почти догадываясь о содержании. Но дальше шел береговой песок и плеск серо-зеленой воды, по цвету которой я догадалась о раннем утре. Я не могла сместить зрение обратно на бумагу, я могла только смотреть на воду и на небо, нависающее над водой. Небо, вода и песок были одинаково гладкими. Гладкими, как чистая бумага, по которой ещё не пробежалась ручка, но её уже достали из пачки, или как простыня из прачечной...

Я провалилась в сон. Во сне я собиралась на море.

– Летом мы полетим в Ниццу, – сказала мне Тень, когда мы много лет назад покупали с ней мороженое на катке на Чистых прудах. – На море...

Я закрыла глаза: зима в тот год выдалась теплая. По водосточной трубе со слабым звоном бежал еле заметный ручей талой воды; но сквозь закрытые глаза он слышался морем. Во сне, коротким мгновением вспомнив прошлое, я летела в Ниццу. самолёт поднимался в разогретое летом небо, такое же спокойное, как море в безветрие, изредка проходя сквозь облака, как сквозь случайные волны.

– самолёт падает, – сказал мой сосед, сидящий у прохода.

Я натянуто улыбнулась; в то время самолеты падали часто, но мне не хотелось тратить на него слова. Мне хотелось думать о Ницце.

– ...падает... падает... падает, – подхватил проход с разных сторон, как будто конфетное драже просыпалось на пол и раскатилось.

Я открыла глаза. Ницца, море и самолёт – все исчезло, я не видела ничего, кроме мокрого грязноватого тумана. самолёт упал посреди острова в тайге, крошечного острова среди болот и трясины.

Я различала только очертания деревьев и запах болот. Я даже не видела ладоней своих вытянутых рук, а это важно для сновидения, они терялись в тумане. Все пассажиры погибли, и каким-то чудом уцелела только я.

Кто-то прикоснулся ко мне в тумане.

«Ветка хлестнула», – тут же подумала я, но кто-то прочно держал меня за плечи.

– Мы здесь одни, – сказал вкрадчивый голос. Он слегка смеялся надо мной, подчеркивая наше с ним здесь одиночество и его полную власть надо мной.

– Совсем одни? – переспросила я, чувствуя, как подступает страх.

– Совсем.

– Но я не вижу тебя...

В тумане я видела только две его руки, державшие меня за плечи, и дальше все терялось.

– Зачем тебе смотреть на меня? – ответил голос, и руки сжали меня до боли, – главное, что я тебя вижу. Ещё наглядимся друг на друга за столько-то времени... Знаешь, сколько у нас его ещё впереди?

– Кто ты?

– Отгадаешь – отпущу... – и он снова засмеялся. – У тебя три попытки.

– Я не знаю...

Он снова засмеялся и ещё сильнее сжал мне плечи.

– Неосторожное высказывание... – Туман стал слабее, и я увидела его силуэт. Это был не слишком высокий человек, но довольно крепкий и, судя похватке, очень сильный. – У тебя осталось две попытки и гораздо меньше шансов уйти.

– Ты человек? – спросила я.

– А ты? – тут же ответил он, обозлившись. – Не смей задавать мне вопросы. Здесь все решаю я, и вопросы задаю только я. У тебя осталась последняя попытка и ещё меньше шансов уйти... Две попытки ты упустила, не подумав...

Он снова сжал руки, и я почувствовала ломоту в плечах.

– Ты тот, кто причиняет боль, – с ужасом поняла я.

Мгновение он молчал, потом резко ослабил хватку.

– Ты отгадала... Пусть с третьей попытки, но ты отгадала...

– О чем ты думаешь? – спросила я, но он не отвечал. – О чем ты... – но он не дал мне закончить. Его смех перерезал мой вопрос пополам, и я так и не смогла договорить его до конца.

– А я не думаю, – сказал он. – Я просто смотрю на твой испуг...

– Отпусти меня, – попросила я, чувствуя, что силы иссякают. – Ведь я же выиграла. Ты должен держать слово... Пожалуйста.

– Нет, – тут же ответил он, не раздумывая. – Ты проиграла. Я же сказал тебе, здесь все решаю я. Хочу – держу слово, хочу – нет. А я не хочу его держать. Ты в моей власти, а я – маньяк. Сделаю с тобой все что хочу... И если бы ты только знала, что я с тобой сделаю... Если бы ты только могла представить.

– Пожалуйста, отпусти меня, – попросила я.

– Я столько знаю про боль, – не слушал он. – Я изучил все её оттенки, все малейшие особенности. Боль – это целый мир, целая гамма ощущений. У меня много приспособлений, чтобы её извлекать. Я все их тебе покажу. Тебе понравится, я знаю...

Я вспомнила, что маньяка можно заговорить. У каждого человека есть зачатки разума, на которые можно воздействовать, только надо знать, как. Я смогу его убедить, я буду говорить с ним мягко, совершенно не обнаруживая своего страха перед ним. Он ждет слез, крика, отчаяния, у меня будут совершенно другие реакции, к которым он не привык.

Тогда его разум включится, и он отпустит меня.

(Все это время мы шли через болото, вернее, он тащил меня по тропе, и она колыхалась под нами. Болото было живым, оно дышало, и его грудь то поднималась, то тяжело опускалась под нашими шагами. Ему было больно от того, что мы по нему идем.)

– Послушай, – пытаюсь казаться спокойной, начала я...

– Да, – совершенно спокойно отозвался он, и я почувствовала надежду. Он даже разжал руки, и боль исчезла. Он просто поддерживал меня, что бы мне легче было идти.

– Ну, ты представь все эти крики, кровь, – совсем осмелела я. – Ведь от боли люди становятся уродливыми, они становятся безобразными, а потом умирают... Зачем это тебе? Ты можешь объяснить?

Он молчал, думая над моими словами. Он даже обернулся на меня и посмотрел как то иначе. Не как маньяк на жертву, а как-то по-человечески, с теплом.

– Ты отпустишь меня, – продолжала я, – и тебе ничего не будет, клянусь. Никто не узнает...

– Хорошо, – соглашался он, кивая в такт моим словам, и даже замедлил шаги, чтобы мне было легче идти. Болото вздохнуло, наши шаги стали мягче.

– Ведь ты отпустишь меня... – продолжала я. Он почти соглашался. – Ты вернешься к людям, когда захочешь, ты сможешь начать все с начала. И когда ты отпустишь...

– Ладно, хватит... – резко обернулся он. – Мне надоел твой вой... Пришли...

И он втолкнул меня в землянку. Она была глубокой, но затхлою, как склеп. Я упала на её жирный, маслянистый пол, к моим рукам прилипло что-то мокрое, наверное, растекшаяся кровь. Я поняла: он просто играл со мной в поддавки, чтобы развлечься.

– Я не буду тебя убивать, – сказал он и включил керосиновую лампу, висящую под потолком. – Я только так... покалечу слегка.

Землянка осветилась. Я лежала в какой-то грязи и слякоти.

– Прошу тебя...

– Молчать... – визгливо крикнул он, и я тут же поняла, что слова бесполезны.

– Тебе никуда отсюда не деться, – сказал он мягко и совершенно спокойно. – Отсюда нет выхода. Отсюда ещё никто не уходил.

Я почувствовала бессилие. Он был совершенно прав, и сопротивление было бесполезным и ненужным.

– Подожди немного, – усмехнулся он, – сейчас начнется. Полежи пока спокойно, подумай...

Где то наверху отворилась дверь. Кто-то спускался, но спускался с трудом, через силу. «Как медленно приходят иногда мысли, – думала я. – Может быть, среди них будет мысль о спасении, и она окажется верной».

Лестница скрипела под ногами спускающегося. её скрип был монотонным, как боль. Лестница казалась бесконечной, ступени изнывали после каждого шага, и я поняла, что так будет всегда. Скрип расшатанных ступеней переходил в смех, от этого становилось ещё больнее, от этого становилось не выносимо.

– Где она? – услышала я голос вошедшего и обернулась.

Вошедшим была женщина. её взгляд беспокойно шарил по сторонам, бился о стены землянки, иногда цеплялся за выступающие корни деревьев, но долго не задерживался на них, а скользил дальше. Наконец она увидела меня и закричала. По её лицу текли слезы. Она размазывала их, смешивая с грязью и слюной. Она была ещё ужаснее, чем маньяк, поймавший меня. Она вытянула вперед руку и стала сжимать и разжимать пальцы, хватая пустой воздух впереди себя. Она сделала шаг вперед, чтобы дотянуться до меня, споткнулась, но не упала. Ей было больно идти, она хромала; и она снова закричала от боли и страха. Она была в белой ночной рубашке, разорванный подол которой обвис клочьями, поверх рубашки был наброшен халат, по ногам узкой дорожкой бежала кровь. Она была измучена истязаниями. Она была жива, хотя её сознание умерло. её тело было, как рассохшийся, треснувший ствол мёртвого дерева, стоявшего где-то здесь, на острове. Я встала к ней навстречу и протянула руки, чтобы обнять её. Мужчина засмеялся. Женщина обернулась на его смех. На мгновение её взгляд остановился на нем, и она закрыла лицо руками.

– Я же сказал тебе, я не буду тебя убивать, – обратился он ко мне и достал нож, – я только так, слегка поковыряюсь.

Его взгляд блуждал точно так же, как и её, изредка цепляясь за разные предметы, иногда их взгляды перекрещивались, и тогда, как бешеная вспышка боли, раздавался крик женщины и смех мужчины.

Она была его бывшей жертвой, которую он не добил, и которая от боли и страданий сошла с ума и стала его сообщницей.

– Ладно, – сказал мужчина, когда их блуждающие взгляды снова столкнулись, – держи её.

Голос женщины охрип от крика, но когда она услышала его приказ, она заскулила, и я не поняла – плачет она или смеется. Она тоже не поняла. Хромая, она подошла ко мне и схватила меня за руку. Я пыталась вырваться, но её пальцы вросли в моё запястье.

– Отогни ей палец, – приказал мужчина. Он приближался к нам, на ходу пальцами протирая лезвие ножа.

Женщина вцепилась в мой указательный палец и снова заскулила, пытаясь вытянуть его. Первое, что я почувствовала, была тоска. Она захлестнула меня, как промозглый ветер, и я поняла, что все, что мне уже не спастись и что если я не умру от боли и ужаса, я сойду с ума и стану такой же, как она. Я посмотрела на мужчину, он разглядывал лезвие ножа, я посмотрела на женщину, она ждала.

– Я прощаю вас, – сказала я. Мужчина засмеялся. Взгляд женщины ожил, и она с удивлением посмотрела на меня. Я торопилась, потому что знала, что скоро уже не смогу говорить. – Я прощаю вам все, что вы сделаете со мной, и вы простите меня за то, что я стала вашим грехом...

Глаза женщины потухли, мужчина мягко приложил холодное лезвие ножа к моему пальцу и слегка надавил...

Что было дальше, я не помню. Чем больше он вгрызался ножом в мой палец, пытаясь перепилить кость, тем глубже становилась тоска. Я почти не чувствовала боли, но тоска раздирала меня. Она рвала меня на части, и я не могла её вынести. Мгновенно я узнала все её оттенки и тут же поняла, что умирают не от боли, а от тоски.

– Господи, – попросила я, прежде чем умереть, – прости меня. Забери меня отсюда.

И тут же все исчезло. На мгновение я погрузилась обратно в серый липкий туман, но тут же вынырнула из него и проснулась.

Была ночь, и от боли, перенесенной во сне, на левой руке слегка ныл указательный палец. Я оделась и сразу же пошла ко Второму.

Он не спал среди ночи. Он сидел за своим круглым столом с зажженным ночником и что-то торопливо записывал в блокнот, поглядывая на дорогу в окно.

– Меня ждешь? – спросила я.

Он обернулся и встал ко мне навстречу так резко, что уронил стул, на котором сидел. Я засмеялась, настолько это было лживо.

– Я всегда тебя жду, – ответил он, прорываясь сквозь смех. Он пытался казаться искренним. – Почему ты так долго...

– Оставь, – перебила я. – Я и так слишком потратилась на тебя.

– Ты напугана, – заметил Второй, цепко пробегая по мне глазами. – Ты вся дрожишь... – он сделал шаг ко мне, но я тут же отступила к дверям. – Ну, хорошо, ты запретила мне касаться тебя, но выпей хотя бы чаю или вина... Хочешь? Ты успокоишься...

– А я спокойна, – ответила я. – Просто я кое-что поняла. Мне приснился ещё один сон...

Он внимательно, как то по-новому посмотрел на меня, смутно подтверждая мою догадку.

– Что тебе приснилось?

– Лучше бы ты спросил – кто? – перебила я.

Второй молчал. Точно так же когда то молчала Тень, когда мы виделись в последний раз. – Кто-то бесцеремонно шарится в моих снах, взламывает все замки и входит туда, пока я ещё не заснула. Он ведет себя, как сторож в отсутствии хозяев. Шарит по тайникам, навязывая свои правила, и убегает к утру, чтобы его не застали с поличным.

Он слушал спокойно, пока я рассказывала сон, и даже несколько раз переспрашивал, уточняя детали, – например, какая была рука, левая или правая, и в каком месте маньяк пытался перерезать мне палец. Я подробно отвечала на все его вопросы, как школьница на уроке. «Да, – кивала я, – палец болит до сих пор, хотя уже час, как я вырвалась из сна». И он уже потянулся к моей руке, чтобы лучше рассмотреть болезненное место, но я тут же отдернула её, и ему опять не удалось до тронуться до меня.

– Где я только что побывала? – спросила я. – Знакомое место, правда? Мне кажется, ты можешь ответить.

– А разве ты не знаешь? – удивился Второй. – Ты и сейчас находишься там.

– Что ты хочешь сказать? – от ужаса я зарыдала.

– Посмотри вокруг...

...Через полгода после встречи в переходе я сама пришла ко Второму. Он даже не удивился.

– Я не могу с ним и не могу без него, – сказала я о Первом. – Ты совершенно не похож на него, но ты должен сделать то, о чем я тебя попрошу.

– Что я должен сделать? – усмехнулся Второй. По его реакции я поняла, что он хочет мне отказать. Он даже поднялся из-за стола, на котором были раскиданы беспорядочные наброски, перемешанные с книгами, которые он читал, которые он когда-то прочитал, но не собирался убирать, и которые он наметил прочитать. – Это слишком просто, – продолжал Второй и уже шагнул к двери, чтобы выпустить меня.

– А ты попробуй, – усмехнулась я в ответ. – Может быть, у тебя получится, а, может быть, и... – я не договорила. – Это совсем не то, о чем ты подумал.

Он тут же резко повернулся ко мне и напряженно спросил:

– Что ты хочешь?

– Сначала мне нужно посмотреть на тебя, – ответила я, – а потом я скажу или уйду, как ты захотел вначале...

Я сразу же увидела, выгоняя меня, он пытается заразить меня сожалением и невыносимым желанием остаться.

Я посмотрела на картины, развешенные по стенам. Они были ловушками (если убрать стены, то оказывалось, что они развешены по спирали), при взгляде на них хотелось возвращаться сюда, в это место, снова и снова.

– Воздух, – сказал Второй, глядя на меня, только что вырвавшуюся из сна, – что ты можешь знать про воздух? Это не то прозрачное вещество, которое заполняет наши легкие, тем самым продлевая нашу жизнь. Воздух – это пелена, отделяющая нас от высшего мира.

– Это ад, – поняла я.

– Ад находится над нами, – сказал Второй. – Воздух наполнен падшими ангелами, сброшенными с неба. Они настолько ужасны, что невидимы для зрения. Мы почти никогда не видим их. Это милость Бога.

– А самолеты?

– Самолеты летят через ад.

Мы замолчали. Я смотрела на него, он смотрел сквозь меня.

– А ты не тот, за кого себя выдаешь, – усмехнулась я.

– А разве ты – та, за кого себя выдаешь? – тут же ответил он. – А, кстати, за кого ты выдаешь себя?

Вместо ответа всплыло воспоминание. Оно встало между нами, и пока оно разворачивалось, заполняя собой стены мастерской, я успела перевести дух.

– Так что ты хочешь? – повторил Второй свой вопрос, когда я пришла к нему в мастерскую.

Над его столом висела картина (она была крайней точкой спирали, закрутившейся в его комнате) – юноша, упавший в траву, запрокинул голову подбородком вверх, целуя небо. Было видно только его лицо – оно сияло, соперничая с небом в своём сиянии. От него исходили тонкие золотые нити, переплетаясь со стеблями травы в золотые письмена, которые он с легкостью читал, не замечая ничего вокруг, даже море, которое захлестывало небо и нежно подбиралось к нему, по-собачьи преданно вылизывая его ноги.

– Что означают эти знаки над ним?

– Он считал, что он маг, – нехотя начал Второй, разглядывая меня. Он даже обошел меня по кругу, чтобы лучше рассмотреть. – Я когда-то знал его. Он неумело курил траву, надеясь, что получает знание, но он пошел не по тому пути. Он брал силу не извне, а из себя. И это золотое сияние, которое ты видишь, – так догорала его жизнь, когда он медленно убивал себя, а знаки в воздухе – это то ничтожное знание, которое он все – таки получил. Оно приятно, оно поительно, но оно совершенно бесполезно...

Я медленно скользила по кольцам спирали, вслушиваясь в его голос. Я знала, что это совершенно не нужно, но мне очень хотелось попасть в её центр. На мгновение где то внутри меня вспыхнул испуг, но Второй ласково убаюкал его.

– Ты не можешь быть Первым, – сказала я ему. – Ты даже не можешь на него походить, но ты можешь сделать то же. То же самое...

Я стояла посредине комнаты, как раз в центре получившейся спирали: на чёрной шелковой простыне, на которой он обычно спал.

– Пожалуйста, свяжи меня, – попросила я.

– И больше ничего? – удивился Второй.

– Это не так мало.

Он связал мне руки за спиной веревкой, которой связывал картины, когда переносил их в галерею. От неё пахло масляными красками, и хотя узлы были слабыми, она натирала запястья до боли.

– Не та веревка, – поморщилась я. – Нужны узкие полоски ткани белого цвета, и ты должен не связывать мне руки, а туго пеленать их, как египтяне пеленали мёртвые тела, чтобы воскресить в них жизнь.

Он просто молча лег рядом. Я закрыла глаза и назвала его по имени, но имя было не его, а Первого.

Он ударил меня по лицу:

– За такие ошибки обычно убивают, – сказал Второй.

Я поцеловала его руку.

Я не чувствовала почти ничего, кроме удивления – почему я здесь. Я не знала тогда, что Первый и Второй появились в моей жизни, чтобы однажды оговориться. Они не узнали об этом никогда.

Когда Второй вошел в меня, я почувствовала ужас. Его лицо стало совсем юным, мягкорозовым, как будто бы под его кожей разгорался ровный огонь, обжигающий меня и ласково греющийего изнутри. Его кожа стала гладкой, и он скользил по мне, как вода. Его кожа оставалась сухой, а мокрой за него была я. Я чувствовала легкую боль в животе, но она не заглушала страх, она ослабляла меня заодно с ним. Второй двигался внутри меня, и с каждым его движением я чувствовала, я почти видела, что он вытягивает из меня тонкие золотые нити, и это они так разогревают его. И вместе с золотым потоком, который он вытягивал из меня, уходили мои силы и моя жизнь.

– Самолеты летят через ад, – повторил Второй, рассеивая воспоминания. – И иногда падают, – и тут он ненадолго замолчал, окончательно осмелев, – ну, ты же знаешь, почему...

– Мне страшно, – сказала я, глядя на него.

– Это неизбежно, – ответил он, подступая ко мне. – Есть вещи, которые можно избежать...

Я не стала отходить как обычно, а он не посмел дотронуться до меня.

– Кто бы ты ни был, – сказала я Второму, – ты больше не увидишь меня.

– Почему? – искренне удивился он. Сейчас он не играл ни в какую игру. Он стоял передо мной такой, каким был когда-то на самом деле. Худенький мальчик, ослабленный от ангины, очень способный к музыке, за что родители заставляли его с утра до вечера пилить на скрипке в доме по Цветочному переулку в Феодосии окнами в Морсад. Он целыми днями простаивал на полукруглом балконе сталинского дома, подпертого колоннами, глядя на гуляющих моряков и военный оркестр с золотыми трубами и барабаном.

– Почему? Только скажи – почему?

Мальчик на балконе, капризно улыбнувшись, бросил скрипочку на асфальт, и она вдребезги разбилась. Никто не услышал. В Морсаде играл военный оркестр. Моряки из училища танцевали с девушками в летних платьях.

– Потому что тот маньяк с ножом из моего сна был ты.

– Нет... – поразился Второй, и рот его задрожал.

– Да...

И я почувствовала себя ещё свободнее, – Второй, точно так же, как и Первый, больше не держали меня и больше не имели надо мной никакой власти. Я отпустила их...

Она была совсем близко. Я знала, что разгадаю её загадку. Но прежде чем приблизиться к ней, я поняла это мгновенно, точно так же, как понимаю волны или надвигающуюся грозу, – мне предстояло прожить до конца те жизни, которые я случайно подсмотрела.

Его волосы были мокрыми от моря, а рот разъедала соль. Он закусывал концы прядей, соленые от воды, губами выжимая из них влагу. Он мог бы остановиться и напиться пресной воды, перемешанной, чтобы перебить жару, с красным вином, – в рюкзаке у него лежала фляжка, но он шел дальше по горячему песку и прибрежным, побелевшим на солнце, ракушкам.

Он шел как человек, пресытившийся морем. Слегка сощуря глаза, скользил взглядом по искрящейся воде, по рыбацким лодкам, сонно подплывающим к снастям, по береговым лодкам, врытым в песок, по скалам, подступающим к границе воды, а иногда переступающим далеко за неё. В руке он нес изношенные сандалии, подцепив пальцами их порванные ремешки. Они были уже совершенно бесполезны, но другой обуви у него не осталось. Рядом с ним по берегу бежал пес белый в мелких чёрных пятнах, с коротким хвостом и вялыми обвисшими ушами. Оба уха тоже были черными: левое полностью, правое только до половины.

– Послушай, – обратился он к псу. Пес тут же завилял обрубок хвоста и, склонив голову набок, сел на песок. – Я отдал тебе всю сушеную рыбу, которую выменял у рыбаков на часы...

Псу надоело слушать. Он легко прихватил зубами его руку и потянул на себя.

Он выхватил руку и вытер о штанину.

Пес был молодой, ему хотелось играть. Он ткнулся носом в его голые ступни, стертые от сандалий, и вцепился зубами в штанину брюк.

– Ральф, ну перестань, перестань... – сказал он псу и потянул к себе штанину брюк. От восторга пес завизжал и замотал головой, слегка ослабив хватку...

– Ну, хватит, – устало попросил он, – ну, прошу тебя...

Пес не унимался, размахивал хвостом и скулил от счастья.

По морю, вспенивая волны, с ревом пронеслась моторная лодка. Ральф тут же разжал пасть и с лаем понесся вдоль берега. Лодка вспугнула чаек, качавшихся на воде, они взлетели и с криком понеслись за лодкой.

– Мы нигде не найдем его, Ральф, – сказал он, когда пес вернулся к нему и ткнулся мокрым носом в его руку. – Тебе нужно вернуться к рыбакам в первую бухту...

Кажется, пес понял. Он слегка отбежал от него и замер, склонив голову набок.

– Ну, вот и хорошо... – он пошел дальше. Пес, посидев какое-то время, побежал следом.

– Ты не найдешь дороги назад, – обернулся он. Когда он остановился, пес тоже остановился, делая вид, что не собирается дальше. Но как только он пошел, пес опять побежал за ним.

– Не ходи за мной, – резко обернулся он. Пес так же резко замер на песке. – Еды дальше не будет... Я отдал тебе все, до последней рыбины...

Пес слабо залаял и вильнул хвостом. Он отвернулся, чтобы уйти, пес поднялся следом.

– Сиди... – тут же остановился он. – Ты понял меня, Ральф?..

Ральф кивнул. Чёрные собачьи глаза плескались весельем.

– Еды больше не будет, ты понял?

Ральф снова кивнул, готовясь к прыжку.

– Мне не до веселья...

По мокрому песку тянулись две вереницы следов – его узкие, с глубокими выемками стопы и веселые собачьи, которые иногда петляли, – это Ральф отскакивал в сторону, – или шли по кругу, когда он пытался поймать собственный хвост.

– Мы не найдем его, Ральф, ты понял?

Пес поднял морду и тонко заскулил.

– Вот так-то лучше, – сказал он. – Теперь я пойду, а ты останешься здесь... Ты вернешься назад, понял? У меня нет денег кормить тебя, их украли, может быть, твои рыбаки...

Пес больше не бежал за ним, он выл, задрал морду, а юноша уходил по песку вдоль берега моря. Он прошел уже очень далеко, а вой не стихал – как будто бы пес стал невидимым, но не лишился голоса и все следовал за ним. Пока раздавался вой – стемнело, но как только сумерки превратились в ночь, вой оборвался.

Он искал бухту с пещерой или рыбацкими лодками. Оставшись без денег, он ночевал в оставленных лодках, прикрываясь протертой джинсовой курткой, привезенной им ещё из Москвы, и здесь, на юге, просолившейся от моря. Но ближе к августу ночи стали холодными, и куртка не спасала.

Он знал, что скоро похолодает, но ещё не нашел ночлега. По скалам можно было подняться в степь, но степь продувалась насквозь ветром, в котором уже таилась осень. Ночное небо было

ясным, звезды виделись четко, но казались ещё мелкими, что означало, что ночь ещё полностью не вступила в свои права, а вместе с ней не пришел ещё и холод. Он шагнул в море, вода тут же ласково подступила к нему, оказавшись теплее и мягче воздуха. За его спиной висел узкий серп нарождающегося месяца, и прямо к его ногам, касаясь пальцев ступней, бежала лунная дорожка, пролившаяся с неба. Море мерцало – вспыхивало и гасло зеленоватыми огнями почти у поверхности воды, иногда эти огни сбивались в целые колонии, и тогда зеленоватое свечение гасло не мгновенно, а горело ещё какое-то время, бледно освещая поверхность воды. Его хотелось поймать руками, и он несколько раз зачерпнул воду в ладони, но вода, коротко просияв, пролилась сквозь его пальцы и тут же погасла, впитавшись в остывший песок.

Единственное, что он различал из звёзд, было созвездие Большой Медведицы. Он видел его каждую ночь, и по положению ручки Ковша знал, что идет на Восток.

Когда ему хотелось есть, он поднимался по скалам и шел через степь в ближайшее село, и в первом попавшемся доме просил хлеба и воды. Ему не отказывали никогда и даже не удивлялись его просьбе, несколько раз ему наливали в бутылку козьего молока, которое он почти полностью отдавал Ральфу. Тот с жадностью лакал молоко – белые струи растекались по собачьей морде и капали вместе со слюной. Ральф благодарно тыкался мокрой мордой в его руки, пытаясь лизнуть в лицо.

Несколько раз его попросили перетащить только что купленное сено из стога, сваленного у ворот, в сарай, ему показали, как обматывать пучки веревками и тянуть через весь двор до сарая. У него получилось протянуть их только до середины, и пучки тут же рассыпались между яблонями и алычой. Он стер руки до крови, и Ральф принялся вылизывать его ладони горячим шершавым языком.

Их прогнали – юношу и пятнистого пса. Им не дали даже воды.

Когда он дошел до Золотого – оно тут же оправдало своё название, – его стальное море с частыми лунками отливало золотом; солнце вливалось в воде в лунки и там застывало, и сияло так, что резало глаза. Было непереносимо смотреть на него напрямую, приходилось щуриться и прикрываться рукой, иначе слезы застилали глаза. Когда, не выдержав, он оторвался от воды и обернулся на берег, раскаленный песок сиял золотом. Золотом отливали холмы, заросшие тысячелистником, чабрецом и зверобоем, золотом отливало небо, в синеву которого были вплетены солнечные лучи.

Он дошел до единственного кафе на берегу, поднялся по ступеням в душный зал со столами, застланными клеенкой, и спросил кофе.

За стойкой стояла девушка лет пятнадцати в белой пляжной майке и выгоревшей юбке, поверх которой был наброшен синий форменный передник официантки. Она только что купалась. С её волос стекала морская вода, юбка и футболка вымокли от купальника, который высыхал прямо на ней.

Девушка тут же замолчала, когда он заговорил. Она не заметила, как он вошел, и вздрогнула от его голоса.

Рядом с ней стоял мальчишка одного с ней роста, но лет тринадцати, с татуировкой узкого морского змея на впадом животе.

– Ну, дай денег, – просил он, приближая своё наглое юношеское лицо к лицу официантки.

– А шел бы ты, – отвечала она, быстро проскользнув по нему глазами.

Он засмеялся. На нем были только темные спортивные штаны. Его голый торс с крепкими развитыми плечами блестел от загара. Мальчишка спокойно зашел за стойку, девушка официантка слегка отступила. Так же спокойно по дороге к девушке он отправил в рот мятный леденец из вазочки с конфетами, выставленными на продажу, и рывком обнял девушку.

– Ну, дай денег, – сказал он, – ну, прошу тебя. Совсем чуть-чуть...

Она ударила его по рукам, но несильно.

– А шел бы ты... – повторила она и засмеялась. Мальчишка полез под её мокрую футболку.

Она оттолкнула от себя. – Я же сказала тебе, чтобы ты принёс мне помаду и те духи, помнишь?

– Да, – кивнул он, не выпуская её.

– Я хочу те духи, – повторила она, особенно нажимая на слово «те», – а ты приходишь и просишь денег.

– Так я немного... – Мальчишка пытался её поцеловать, а онауворачивалась. Наконец ему удалось дотянуться до её губ.

– Пошел вон, – разозлилась официантка и шлепнула его рукой по лицу. Он попытался поймать губами её пальцы, но не успел. Он потерял ладонью щеку и улыбнулся, снова подступая к ней.

– Дай денег...

Вошедший заметил, что у него не хватает двух пальцев на руке – указательного и безымянного.

(Пока юноша, разглядывая мальчишку и официантку, просил кофе в селе Золотое, я медленно подходила к дому, с подвальных дверей которого мы с Тенью сорвали замок. Дверь в подвал была, как и прежде, заперта, и когда я вошла в подъезд, то увидела тщательно замазанную щель между ступенями, в которую мы с Тенью высматривали череп.)

Неожиданно пространство вокруг сделалось гибким. Оно почти беспрекословно подчинялось мне. Мне казалось, что я снимаю с него один за другим покровы и что оно само выведет меня туда, куда я стремилась с самого начала.)

Вошедший попросил кофе. Девушка вздрогнула от неожиданности и указала на табличку на барной стойке – «обед», но вошедший разглядывал мальчишку, тот зло смотрел в ответ. Он щурился от сияния Золотого. Мальчишка был шире вошедшего в плечах, но ниже ростом. Мальчишка быстро оглядел вошедшего с ног до головы и вышел из бара, сплюнув себе под ноги.

Девушка налила воды в турку и поставила её на песок.

– Вам крепкий? – спросила она, сладковато растягивая слова. Все местные тянули слова. – Да вы присядьте...

Он тут же сел за стойку.

– Да не здесь, – и взмахнула рукой. Мелькнули бледные, неровно покрашенные ногти на смуглых руках.

Он послушно встал и пошел, куда она указывала, – на террасу с деревянными лавками и длинным деревянным столом. В углу стола был вырезан такой же морской змей, как у мальчишки на животе. С террасы было видно то, что происходит в баре и на пляже. В турке на раскаленном песке поднимался кофе, и девушка-официантка, зная, что он смотрит в бар, сняла вымокшую футболку и юбку, стянула с себя купальник и выжала его на голые ноги в береговом песке. Потом они встретились глазами. У неё были темные глаза с глубокими расширенными зрачками и темные, проступающие даже сквозь загар круги теней. Она не спала ночами, а днем пыталась пробиться сквозь сон.

Он отвернулся от неё в сторону пляжа. Послед неё, что он увидел, был кофе, перелившийся через край турки и впитавшийся в песок.

На берегу с лаем носился Ральф, распугивая чаек. Иногда он подбегал к морю и жадно нюхал золотую, искрящуюся воду, иногда раскидывал задними лапами песок, оставляя широкие следы с зазубринами когтей.

Одна-единственная береговая скала слегка вдавалась в море, но когда волны отступали, её можно было обойти, не замочив ног. Она поросла осокой и тысячелистником, но самые её нижние выступы, нависающие над водой, затянулись коричневым мхом. Кое-где осока и тысячелистник были притоптаны, изихпримястостей складывалась едва заметная, но крутая тропинка. На самой вершине скалы сидели два баклана. Один склонил голову влево, другой – вправо, и оба замерли неподвижно.

Чуть ниже, пройдя до конца крутую тропу, стоял мальчишка из бара. Он вытащил из кармана своих спортивных штанов бумажник и смотрел, сколько в нём денег.

Юноша на террасе засмеялся: бумажник принадлежал ему. Ральф, подбежав вплотную к скале, лаял, задрав морду вверх, но ни бакланы, ни мальчишка даже не взглянули на него. Юноша взял рюкзак и порванные сандалии, спустился с террасы и направился к дальним скалам, за которыми начиналась череда бухт. Ральф тут же замолчал и побежал следом. Девушка из бара крикнула ему вслед: «Кофе», но он даже не обернулся, все равно ему нечем было заплатить.

В самой первой бухте за Золотым он обменял у рыбаков свои швейцарские часы на несколько связок сушеных бычков. Больше у него не осталось ничего.

Через несколько дней он потерял счет бухтам.

(Всё изменилось во дворе, где когда-то жила Тень с отцом, и куда выходили окна Жопы. С карусели вертушки сняли железные сиденья, остался лишь остов с облупившейся краской и длинным рядом сосулук.

У гаражей, их не было в наше время, стояла компания подростков. У одного в руках была клюшка и хоккейные коньки.

– Вы из этого дома? – подошла я к ним. Они тут же замолчали и посмотрели на меня. Ни один из них не ответил.

– Просто я ищу двух человек, которые здесь жили. У них ещё собака. чёрный ротвейлер...

– Мы не знаем, – сказал один из подростков. И они уже хотели отвернуться от меня, но я продолжала:

– Два алкаша... Один худой, с длинными волосами, как хиппи, другой плотнее и немного старше... Они такие...

– Мы же сказали, мы не знаем... – раздраженно повторил мальчик, но я все равно не уходила:

– Они – писатель и режиссёр.

Подростки молча смотрели на меня, выжидая, когда же я уйду. И чем больше шло время, тем напряжённее становилось молчание.

– Ну, я знаю их, – наконец сказал мальчик с хоккейной клюшкой, – они живут на первом этаже окнами на бульвар, вернее – жили. И что дальше?

– А где они сейчас? – жадно спросила я. Он засмеялся, видя моё нетерпение, и даже отступил назад, раздумывая – говорить или нет.

– Ротвейлер сдох... – наконец сказал он. Остальные подростки засмеялись. Один из них закурил. Дым шел прямо мне в лицо, но я не обращала внимания.

– А те двое?..

– Те двое? – и мальчик замолчал, прежде чем ответить. Я видела: он все мне расскажет, а он видел, что мне необходимо узнать о них, и решил немного поиграть... – Те двое все время валялись на бульваре, как бомжи... – и он снова замолчал. – У вас сигарет не будет?

Его сосед, тот, что курил, тут же протянул ему пачку, но он отстранил ее:

– Нет! У вас сигарет не будет?..

– Я не курю, – сказала я, однако, пошарив в карманах, неожиданно нашла бензиновую зажигалку, которую случайно унесла из мастерской Второго. – Это тебе...

Он поймал зажигалку одной рукой, с легкостью рассчитав её полет.

– А ты хороший вратарь, – заметила я.

Он равнодушно пожал плечами. Он рассматривал зажигалку.

– Вот так бы сразу, – сказал он, передавая её по кругу. – Короче, те двое в Италии. Где именно, я не знаю. Они снимают там фильм, или уже сняли... Иногда приезжают сюда, но ненадолго, а на бульваре больше не пьют... Больше я ничего не знаю... Ну что, все, что ли?

Ещё один из подростков достал сигарету, прикурив от новой зажигалки, и прочитал «Zipp». Мне было все равно, мне было совершенно не жаль расставаться с вещицей Второго, точно так же, как с этими подростками. Я узнала все, что хотела.

– Нет, подожди! – и подросток с хоккейной клюшкой цепко схватил меня за руку. Все остальные удивленно переглянулись. Они были совсем детьми, им было лет по тринадцать, самый высокий из них едва доходил мне до виска.

Я попробовала выдернуть руку, но он крепко держал. Я ничуть их не боялась. Подросток рывком задрал рукав моей куртки, открыв розовые потертости на запястье.

– Ты тронулся? – удивился его сосед и ударил его по руке.

Мы с подростком внимательно смотрели в глаза друг друга. Я знала, мне нельзя отводить взгляд, ещё немного – и он отступит. Но он не отступал, ему приходилось смотреть вверх, против солнца, его глаза наполнились слезами, но он все равно не отводил взгляд. Неожиданно скривив рот и меняя голос, чтобы рассмешить приятелей, он заговорил:

– А расскажите, пожалуйста, как вы лежали на полу и вам связывали руки. И вы просили... – и тут он захрипел, изображая отяжелевшее дыхание, – «ну, ещё туже... сильнее, ну, затяни, затяни веревку...»

И тут же всплыла мастерская Второго. Мы лежали с ним на полу. В полуоткрытое окно врвался холодный, голубоватый воздух зимы. Что-то упало на улице, на замороженное крыльцо с разбитой третьей ступенью.

– Пойду посмотрю, – сказал Второй, поднимаясь...

– Развяжи меня, – тут же попросила я и села на его чёрной простыне, вытянув перед собой руки.

– Я ненадолго, – сказал Второй, – я быстро вернусь... Побудь пока одна, почувствуй себя пленницей... – и засмеялся, так же легко, как тот потрескивающий морозец на улице.

Он взял зажигалку со стола, набросил чёрное узкое пальто и вышел на улицу. По запаху, который ветер тут же принес в комнату, я догадалась, что он курит. Мне показалось, что он с кем-то говорит вполголоса, а потом послышались шаги. От него убегали.

Мои запястья были перетянуты веревкой очень крепко, но они не затекали. Пальцы и ладони оставались совершенно свободными. Я бы могла обхватить стакан с водой и выпить – это показалось мне забавным. Второй научился связывать меня почти так, как мне хотелось, я была связана и одновременно – почти свободна. Я была связана нежно, но крепко, ещё бы немного – и нежность стала болью.

– С кем ты только что говорил? – спросила я Второго, когда он вернулся.

– Ни с кем, – ответил Второй. Его лицо покраснело от мороза, его голос ещё не отогрелся в тепле, и поэтому я его не узнавала.

– Что ты делал?

– Отгонял сны от нашего окна, чтобы они не одолевали тебя по ночам... – и Второй бросил на стол зажигалку.

– Значит, нас кто-то видел, – поняла я и тут же представила Первого. Он смешивал красное вино с водой и что-то говорил, но мне не удалось разглядеть его собеседников. Ко мне приблизилось лицо Второго.

– Нас не видел никто, – и он развязал мне руки. – Никто не знает о нас, – он растирал мне запястья, они покраснели от веревок. – Никто не узнает. У нас одна тайна на двоих. С одной стороны ты, а с другой – я, а между нами эта веревка...

Слезы текли по лицу подростка, потому что его глаза не выдерживали солнца, но он смеялся. У него оказались прокуренные, гнилые зубы. Его приятели подхватили его смех. Тот, что прикуривал, выронил зажигалку Второго, она упала на снег, и никто не стал за ней нагибаться.

– Ублюдок, – оттолкнула я подростка. Он держал меня одной рукой, в другой у него была клюшка. Он удержал моё запястье, только покачнулся. Его лицо блестело от слез.

– А хочешь, мы тебя свяжем не хуже этого твоего... – и он назвал имя Второго. Злоба захлестнула меня.

– Ублюдок, – крикнула я так, что подростки замолчали. И я ударила его с размаху по его блестящему влажному лицу. Он разжал руку и закричал. Я знала, что он кричит от боли, но я не стала на него смотреть. Я побежала по снегу.

Его крик перешел в плач. Детский отчаянный плач нагонял меня, пытаюсь заставить обернуться.

– Больно, мне больно, ты слышишь? – несло мне вслед.

Я обернулась. Лицо подростка было разбито, он вытирал кровь с лица, потом пытался очистить руки – вытереть их о штаны.

– Убью тебя, – кричал он мне вслед. – Убью...

Когда я била его, я метила в лицо, но попала в хоккейную клюшку, и клюшка с размаху ударила его по переносице. От боли его голос вернулся к нему, ломающийся, слегка простуженный голос подростка.

Я не чувствовала жалости, я не чувствовала вообще ничего.

– Сдохни, – кричал подросток, и его рот кривился от злобы. – Сдохни...

Я спокойно уходила от них, слушая, как скрипит снег.)

– Я никогда не найду тебя, – сказал он, и вместо того чтобы зарыдать, шагнул в ночное море. Вода оказалась теплее и мягче охлажденного воздуха. Ветер из степи превращался в рябь на поверхности воды, запахи степи мешались с морем, а холод оставался на берегу.

Он поплыл, но в этой бухте море было мелким, берег отдалялся, а вода по-прежнему едва доходила ему до груди. Море светилось в ответ свечению неба. Он вплывал прямо в свечение, разводил воду руками, и получалось, что свечение льется из его пальцев. Он перевернулся на спину и поплыл; над ним висело созвездие Ковша. На берег надвигалась чёрная тень от скал, сразу же за которыми начиналась степь и развалины древнего маяка, который когда-то вырубил в камнях тавры. Звезды сделались крупнее и ближе, что означало, что ночь подступила совсем близко, точно так же, как древний таврический город.

Выйдя на берег, он упал в холодный песок и сразу же заснул, даже не успел накрыться джинсовой курткой.

Во сне он увидел все ту же ночь, только он шел по берегу, собирая крупные створки белых и темно-фиолетовых раковин. Когда их набралось достаточно много, он вычертил на песке две огромных спирали. Одна закручивалась по часовой, другая против часовой стрелки. Чтобы спирали не заносило песком, он выложил их створками ракушек, чередуя белые и фиолетовые.

Потом во сне он встал между двумя спиралями и, раскинув руки, поднял лицо в небо.

Неясный туман Млечного Пути струился по небу совсем близко, так, что он чувствовал, как его лицо захлестывают прохладные волны. Рассеченное сияние звёзд превратилось в потоки, и он подставил под них свою грудь. Они пронизали его насквозь, они пронизали мокрый береговой песок, каждую расщелину в скале. Едва прикоснувшись к поверхности моря, они высветили все его песчаное дно, и древний таврический маяк стал бледно мерцать в темноте.

Он закрыл глаза и увидел древний город тавров, вырубленный в скалах. Там, где степь резко спускалась в низину, а потом поднималась на холмы, образуя широкую расщелину,

заросшую кустарником и травой, текла река. По её берегам вместо растрескавшейся от зноя земли цвели сады, над которыми поднимались белые каменные дома.

Их город, он сразу же увидел это, уходил глубоко под землю, потому что звездный свет пронизывал земную поверхность, делая её прозрачной.

Сами тавры были изумительно высокого роста, хотя их тела были почти такими же узкими, как у него, но они двигались быстрее и гибче. Он сразу же понял их язык. Он задавал вопрос, и тут же в его мыслях возникал ответ, но это был не его собственный голос, а голос того, к кому он обращался.

Они не испытывали сильных, захлестывающих душу чувств, они сами становились тем, что они чувствовали. Если это была любовь, они были любовью, если это было спокойствие, они становились покоем. Они не желали обладать тем, что им нравилось, они просто становились его частью. Заглядевшись на реку, они становились её течением, попав в лес, они сливались с ним, проходя через него. Их чувства не делились на то, что называем чувствами мы. Они просто жили в потоке жизни, они никогда не испытывали тоски, и их знание не было скорбным.

И последнее, что он увидел, прежде чем видение отступило, были два лабиринта в форме спирали, между которыми лежал древний город Тор. Один из лабиринтов закручивался по часовой стрелке, другой против, как те, что он только что выложил на песке; и он мгновенно считал их суть. Они заключали в себе знания города Тор. Нужно было пройти каждый из этих лабиринтов, и тогда знания открывались.

Когда он открыл глаза, небо по-прежнему сияло над ним, и у его ног, склонив большую печальную голову набок, сидел Ральф. Это был тот же самый пес, которого он знал днем и с которым часто спал бок о бок в рыбацких лодках, и так они согревали друг друга по ночам; но одновременно пес преобразился. Его морда из милой мокрой собачьей стала одухотворенной. Глаза подернулись такой печалью, что долго он не смог вынести его взгляда.

– Как ты меня нашел?.. – спросил он.

И тут же в его мозгу отозвалось:

– А я и не терял тебя... Я все время шел по твоему следу, а ты не видел.

– Кто это говорит со мной? – поразился он.

И тут же в его мозгу всплыло:

– Я!

Он посмотрел вниз и увидел грустную преданную морду пса.

– Не гони меня, – снова раздался голос внутри него. – Я буду тебе служить, только не гони. Я выведу тебя туда, куда ты захочешь, только не гони, ладно? У тебя, кроме меня, никого не осталось, а я буду служить верно.

– Кто ты? – спросил он.

И тут же пришел ответ:

– Я дух этих мест...

– Куда мне идти?

Но ответа не последовало, вместо ответа пес ткнулся теплым носом в его колено и залаял, повернувшись на восток. Именно туда он и шел, его чутье подсказало ему верное направление.

Когда он проснулся, было уже довольно позднее утро, солнце стояло высоко, песок прогрелся, но ещё не раскалился. Он лежал голый почти на границе воды и песка. Его одежда была раскидана по всей бухте. И в небе из ряби облаков выстраивалось продолжение таврических гор с очертаниями домов и подземелий, виденных им во сне. Это был первый и единственный сон, который пришел к нему за долгое время путешествия.

Он нашел его на третий день своего пути по бухтам. Тот, совершенно голый, лежал на песке, закрыв глаза, полностью подставив себя солнцу. Море преданно лизало его ноги и тихо отступало, чтобы не разбудить. На границе воды и песка стояла железная кровать с панцирной сеткой, застеленная свежим – он поразился его чистоте! – бельем с теплым стеганым одеялом.

Он поспешно достал из рюкзака блокнот и отыскал в нём акварель, изображавшую застланную кровать на берегу моря. В небе над нарисованным морем роились сны в виде зыбких облаков.

– Совсем как на рисунке, – сказал он.

Тот, кого искали, нехотя открыл глаза:

– Ну и что? – и отвернулся в другую сторону.

Тогда он обошел его по песку, хотя первым желанием было перепрыгнуть через его худую, почти мальчишескую грудь и снова заглянуть ему в лицо.

– Наконец-то я нашел тебя.

– Ну и что? – ответил тот, кого искали, снова ненадолго приоткрыв глаза, но больше не отворачивался.

– Я скучал по тебе, ходил по улицам, где мы гуляли. Помнишь каток на Чистых прудах? Я целыми днями просиживал на бульваре...

– Скажи... – тот, кого искали, приподнял голову и, кажется, заинтересовался, – скажи, а там, на Чистых прудах, по-прежнему дают лодки напрокат?

– Да, конечно... Иногда их даже не хватает, и тогда выстраивается целая очередь. Ещё там открыли летнее кафе, там ходит трамвай «Аннушка», который недавно взорвали, Ещё ...

– Подожди... – перебил тот, кого искали, – а кто дает лодки напрокат?

– Не знаю... – он пожал плечами. – Это неважно.

Тот, кого искали, вздрогнул и сел на песок. Он окончательно проснулся. Его голос стал жестким.

– Вспомни...

Он закрыл глаза, чтобы вспомнить: но виделась только праздная толпа, сидящая с пивом на бульваре, студенты, выходящие из ОГИ, остов сгоревшего трамвая.

– Я не знаю.

– Вспомни... – тот, кого искали, почти кричал. Он снова закрыл глаза и увидел двух парней, стоящих у лодок. Один из них держал весла.

– Два парня, – равнодушно рассказал он, – лет так тридцати. Может быть, чуть младше... У одного тёмные волосы и татуировка на плече – ящерица, теряющая свой хвост...

– Значит, они ещё живы? – скривился тот, кого искали.

– А что же им делать? – удивился он.

– Сдохнуть...

– Ты что, знал их?

– Я – нет...

Скалы в этой бухте подступали к морю с трех сторон, получалось, что одну большую бухту они делили пополам. Они походили на окаменевшего дракона, уронившего в море три головы и с жадностью втягивающего воду. Волны били его по каменным губам, пока не сточили на нет. Перед правой головой сидела окаменевшая, покрытая мхом лягушка. Она пыталась обогнуть дракона, и ей это удалось. Она первая прыгнула в воду, но, как оказалось, напрасно, оба они все равно окаменели навсегда.

– Я искал тебя, – сказал он, вглядываясь в его лицо, как будто бы заново узнавая.

– Зачем?

– Потому что я не могу без тебя...

Тот, кого искали, прищурился, глядя на море.

В этот день оно было синего глубокого цвета, снизу подернутого чернотой.

– Я никого не звал за собой...

– Но ты говорил...

– Все это неважно, – перебил тот, кого искали.

– Мне никто, слышишь? никто не нужен.

Ему стало горячо, но море сжалилось: волна подступила к берегу и по-собачьи лизнула ему ноги.

– Человек подставляет свою грудь под поток жизни, – вспомнил он, – и она течет сквозь него, как через ворота, увлекая за собой события, чувства и судьбы других людей. Разве это не ты говорил?

– Ну и что? – тот, кого искали, бессильно откинулся на песок. Он не сводил с него глаз. – Я ошибся.

– Ты увлек меня за собой, – страстно заговорил он. – Вместе с потоком жизни я прошел через твою грудь. Ты думаешь, мне что-то нужно от тебя? Нет, ничего. Мне бы только посмотреть на тебя, напитать душу, и я пойду дальше...

Следом за драконьей головой начиналась Бухта чаек. Так называл её тот, кого искали. Береговой песок там был розового цвета и прямо перед морем оседал, образуя ложбинку, которая во время прилива заполнялась водой. Вода была абсолютно прозрачной, сквозь неё просвечивало дно из песка и ракушек и мелкие бугристые камни, и тут же, через несколько шагов, начиналось темно-зеленое море, вода в котором втянула в себя все оттенки зелени от прозрачного стеклянного до чёрного с синевой, который на самом дне все равно оказывался зеленым.

– Помнишь, я говорил, что живу сразу несколько жизней? – сказал тот, кого искали. От солнца его лицо стало смуглым до черноты, его чёрные волосы выгорели, на концах отливали красным.

Он неотрывно смотрел на того, кого искал:

– К концу лета, я знаю, тебе исполнится тридцать. А выглядишь ты так, как будто бы время обходит тебя стороной... – Он замолчал, чтобы слова не вставали между ними. Он не прикасался к нему, но почти чувствовал его кожу. Она стала сухой от солнца и воды. – Только нельзя жить сразу несколько жизней, мы и с одной-то не можем справиться.

– Чушь, – сказал тот, кого искали, и отвернулся к Бухте чаек.

Чайки высадились в ряд на узкую полоску песка между морем и ложбинкой, заполненной водой. Так неподвижно они могли просидеть долгое время. Над ними с криком пронеслась стая бакланов. Они летели двумя черными линиями, не поворачивая голов, чайки следили за их полетом.

– Ещё говорить с тобой... – тот, кого искали, поморщился, набрал сухого песка в горсть и стал смотреть, как он протекает между пальцев.

– Ну, хорошо, допустим, тебе удалось поймать несколько жизней одновременно, и ты находишься в каждой из них... – согласился он. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы не кончать разговор.

– И та жизнь, в которой я позвал тебя, – песок продолжал литься сквозь загорелые пальцы, – была случайной, второстепенной. Жизнь, в которой находился ты, была, как оговорка, – приятная, но ненужная. Как, впрочем, и все остальные... Дело в том, что моя основная жизнь прервалась...

Песок кончился в горсти, и на ладони осталась фиолетовая створка мидий.

– А с кем была основная? – напряженно спросил он.

– А разве ты не знаешь? – тот, кого искали, удивился. – Ты шутишь, да? – глаза его были темными, как загар, с ослепительно белыми белками. От его глаз становилось холодно. – Ну да, ты же всегда видел только себя...

– И тебя, – тихо сказал он.

– Помнишь, зимой мы часто играли в хоккей? – Он кивнул. – Я был неплохим вратарем, пока не надоело... Мы играли до самого вечера, иногда до самой ночи. А на углу почти каждый день продавали мороженое. Зимой, в мороз, его никто не покупал... Но они стояли почти до самой ночи, – мороженщица и её дочка... Ты помнишь, скажи?

Он неуверенно кивнул. Сквозь смутные сумерки Чистых прудов проступило бледное детское личико, укутанное в какие-то тряпки для тепла.

– Она росла вместе с нами, – продолжал тот, кого искали, – вернее, рядом, около нас. Никто из нас не замечал её. Она была из бедной, почти нищей семьи. Она плохо одевалась. Она почти ни с кем никогда не разговаривала, ты помнишь?

– Смутно... – он пожал плечами. Перед ним стояла лёгкая зеленоватая дымка, клубящаяся над водой Чистых прудов.

– Её просто не существовало для нас, – рассказывал тот, кого искали. – Пока однажды она не покрасила волосы. У неё были прекрасные чёрные волосы, и она зачем-то покрасила их. Она вытравила их гидроперитом, и они стали бледно-жёлтые, почти белые, как эта пакля на дешёвых париках.

– Я помню... – неожиданно сказал он. – Она плакала, сидя на подоконнике...

Он вспомнил, как однажды после уроков зашел в спортзал за хоккейными коньками. Он ходил на хоккей только для того, чтобы быть рядом с тем, другим. Ему не нравился лед, скольжение на поворотах, удары клюшек...

Она сидела на подоконнике и рыдала, уронив лицо в колени. Она единственная ходила в школьной форме, тогда её несколько лет как отменили, но у неё просто не было других платьев. Вместо того чтобы взять коньки, он подошел к ней и поднял её плачущее лицо, чтобы лучше рассмотреть.

Она тут же успокоилась и стала смотреть в ответ. Оба молчали. её лицо казалось совершенно прозрачным, и было удивительным, что сквозь него не проходит дневной свет, как сквозь оконные стекла за её спиной. Он отпустил её, взял коньки и пошел к выходу. Она снова уронила лицо в колени и зарыдала.

– Я вспомнил её, – сказал он.

– Если только это действительно была она, – перебил тот, кого искали. Не захотел выслушивать до конца. – И то, что я пел в подъездах, а потом на стадионе и в клубах, – все это были её стихи. Она их мне подарила.

– А что ты подарил ей в ответ?

– Ничего, – ответил тот, кого искали. – Мне нечего было ей дать взамен...

В небе над бухтой облака писали свою историю, отражавшую сейчас уже невидимый город Тор. Они были сном мёртвого города, а юноши на песке оказались на границе сновидения.

– Она надолго пропадала, а потом снова появлялась... – тот, кого искали, разглядывал облако над бухтой. Оно было огромным орлом, с раскинутыми во все небо крыльями и опасно загнутым клювом. Чайки в соседней бухте следили за его полетом. – И все привыкли к её исчезновениям, кроме меня. Никому и в голову не приходило спросить, где она бывает... Ты-то хоть её помнишь? – и тот, кого искали, схватил его за руку и сжал до боли.

– Думаю, что да... – и он действительно попытался вспомнить.

– Однажды она пропала, и никто даже не волновался, все знали, что через день другой она найдется... – тот, которого искали, сглотнул и, прищурясь, посмотрел в небо.

Над бухтой висела тень, крылья небесного орла почти полностью закрывали небо, и сквозь них прозрачными потоками лился солнечный свет, четко обозначив плотно прижатые перья. Подул ветер, одно перо выпало из крыла и застыло в воздухе.

– Она нашлась? – спросил он.

– Нашлась, – ответил тот, кого искали, и тут же уточнил: – её нашли. На стройке, в котловане, с двадцатью четырьмя ножевыми ранениями на теле. Она занималась проституцией и торговала героином. Об этом никто не знал, почти никто...

– А те двое с лодочной станции? – спросил он. Ему было все равно или почти все равно. Девушку, о которой шла речь, он почти не помнил, как не помнил тени людей, идущих рядом с ним. Ему нужно было посмотреть, насколько тот, кого искали, захвачен этой историей, и тут же увидел: он думал только о ней.

– Те двое были сутенерами, – ответил тот, кого искали. – И помогали ей продавать героин. Но об этом тоже никто не знал и не знает до сих пор. Для большинства они по-прежнему два славных парня, выдающих лодки напрокат, а зимой коньки, если залит каток.

И даже море не могло вытравить мысли о ней.

– А помнишь – твоя маска? – спросил он и засмеялся. – Твоя хоккейная маска? Где она сейчас?

– Не знаю, – тот, кого искали, не смог отвлечься. – Валяется в каком-нибудь подвале...

– Ты был отличным вратарем, – сказал он и, помолчав, добавил: – И певцом тоже...

– Ну и что?

Тот, кого искали, вытянулся на песке у его ног и закрыл глаза. Ему снился все дни и ночи напролет один сон.

– Не гони меня, – вспомнил он и склонил голову набок. – Я буду тебе служить, только не гони. Я буду служить верно...

Тот, кого искали, открыл глаза, засмеялся и поцеловал его в стопу.

– Теперь мы в расчете...

Когда он уходил по песку, тот, кого искали, окликнул его:

– Я не сказал тебе самое главное... – Он остановился. – Она любила только тебя...

– Меня? – удивился он и снова попытался вспомнить её лицо, но не увидел ничего, кроме слабого зеленоватого свечения, похожего на ночной свет Азовского моря.

– Только тебя и больше никого...

– Как, ты сказал, её зовут? – спросил он.

Тот, кого искали, ответил, но волна набежала на берег, и её имя утонуло в плеске воды.

Он безразлично шел назад через бухты. Он знал, что не собьется с пути. В небе среди звёзд он видел преданную морду Ральфа. Пес указывал ему путь.

Он дошел до Золотого. Официантка и мальчишка сидели на ступеньках бара. Официантка разглядывала темно-бордовый флакон с духами, поднимала его на свет, проверяя, сколько осталось духов.

Он остановился, заглядевшись на них. Они посмотрели на него в ответ, не узнавая. Мальчишка бросил ему горсть мелочи. Тот нагнулся и подобрал все до копейки.

Море и древний город в скалах остались далеко позади, он шел через степь. Она выгорела на солнце, и её уцелевшая трава отливала серебром. Иногда от его шагов из травы стаями поднималась саранча. Он видел, что они похожи на всадников, и ему хотелось проследить их полет, но он за ними не успевал.

Степная земля изнемогала от зноя. Она растрескалась, как заболевшая кожа, и просила воды, но дождя не было. Ветер нес в себе горечь и сухость, но ему было безразлично, даже если бы он нес в себе смерть.

Иногда, если заросли травы были высокими, из-под ног у него вылетали ласточки. Они вили гнезда прямо в траве и, заслышав шаги, взлетали, пытаясь увести его.

Каждую ночь среди звездного неба (оно стало уже не таким четким, как над морем) ему виделась грустная собачья морда с темными понимающими глазами, из зрачков которых выплескивался чёрный океан бесконечности.

И он твёрдо знал, куда бы он ни пошел, он не собьется с дороги.

Он уже не помнил, сколько времени ушло на дорогу – ему было все равно. Смена дней и ночей была для него сменой сухого степного ветра с серебристым запахом полыни и остановками под скудными деревьями алычи и пронзительно холодных ночей с низким сверкающим небом.

В одной из деревень в магазине он попытался украсть хлеб и бутылку минеральной воды, но, увидев его, продавщица – молоденькая татарка с грубо подведенными прекрасными глазами – поморщилась: «Не воруй у нас, тебе и так подадут...» и сложила в пакет хлеб, сигареты и несколько банок теплого пива. «Гуля, кто там?» – прямо к магазину примыкал домик татар. По-видимому, продавщицу окликнул её отец. «Да так, побираются!» – лениво ответила девушка. «Гони их, гони, – громко, но беззлобно крикнул отец. – Я сейчас собаку спущу...» – «Уже прогнала», – девушка перегнулась через прилавок, блеснув золотом в ушах и на пальцах, и протянула ему пакет.

Пока он шел через деревню, собаки лаяли ему вслед, но ни одна из них не побежала за ним. Наконец он дошел до Керчи и почти сразу же отыскал московский поезд. У первого плацкартного вагона на платформе курила проводница. Это была раздавшаяся, но довольно молодая женщина в фуражке и широкой форменной юбке.

Он молча встал перед ней, и пока он не заговорил, она пыталась не смотреть на него, как не смотрят на нищих, показывающих свои язвы.

– Денег нет, – сказал он.

– Это понятно, – ответила проводница и сбросила пепел с сигареты.

Ему было тяжело говорить, поэтому слова выходили тихими, и ей пришлось повернуться к нему и смотреть ему в лицо, чтобы понять его.

– Есть пачка сигарет, – и он протянул ей сигареты, которые отдала ему татарка в деревне.

– Я такое не курю, – отмахнулась проводница.

От жары у неё выступил пот на переносице, и она стирала его рукавом белой форменной рубашки. Она не понимала, почему она его слушает. Поезд вот-вот должен был отправиться.

– Есть кроссовки, – и он развязал свой потертый, когда-то дорогой рюкзак. – Я почти их не носил. Я взял их сюда для того, чтобы ходить по скалам. Их ещё можно продать, конечно, не так дорого, как они стоили вначале...

Проводница повертела кроссовки и почти сразу же вернула их назад. Ей было интересно посмотреть на его вещи.

– Есть несколько рубашек, – бессильно продолжал он. – Их тоже можно продать или, может быть, кто-то из ваших близких захочет их... – и он повесил рубашки на вытянутые руки проводницы.

Она увидела, что сейчас он упадет.

– И это все? – спросила проводница.

Он перевернул рюкзак и высыпал на перрон все, что в нём оставалось: несколько исписанных ручек, блокнот, пустую мыльницу и зубную щетку.

– Теперь все?

Он хотел вывернуть карманы, но покачнулся, и проводнице пришлось вытянуть руки, чтобы поддержать его. Ей нужно уже было заходить в вагон, и она перебросила через плечо его тонкие рубашки. Он оставался на перроне среди разбросанных вещей. Она стояла в тамбуре, готовясь закрыть дверь в вагон. Неожиданно она сказала:

– А знаешь что? Я возьму тебя без денег.

Он как проснулся. Он схватил блокнот и несколько раскатившихся по перрону ручек и заскочил в вагон.

Всю дорогу она удивлялась самой себе.

– Будешь спать в моем купе, здесь, на верхней полке. Только лежи тихо... Я дам тебе одеяло и подушку, но без наволочки. Их не напасешься...

Она не сама, нет... Что-то вошло в неё и заставляло говорить и делать то, что она делала и говорила.

– Только не воруй, понял? – она схватила его за плечи и попыталась их сжать, чтобы он прислушался к ней. Он с усилием посмотрел на неё, пробиваясь сквозь сон, и кивнул. – Ты не воруй, – повторила она. – Тебя взяли так... – и она замолчала, подбирая слова. – От доброты... Я тебе пожрать всегда достану.

От неё пахло потом и крепкими сладковатыми духами.

Он закрыл глаза и повалился на нижнюю полку.

– Наверх, – стала толкать его проводница, – я же сказала тебе, полезай наверх.

Но он не пошевелился.

Прежде чем заснуть, он увидел лицо того, кого искали. «Мне хочется пить твои слова, пока они ещё не сошли с твоих губ», – подумал он и провалился в сон.

Во сне он не видел ничего, кроме моря. Он плыл, сначала закрыв глаза и сдерживая дыхание, но потом дышать стало легко, и волны сами понесли его. Он открыл глаза – вода меняла цвет каждую секунду, её зелень то окрашивалась золотом, то подергивалась чернотой. И тогда он нырял в надежде достать до дна. Дно было глубоко, но виделось четко. Иногда над песком, не гладким, а рельефным, как примятая ткань, проплывал косяк мелких рыб. Они пронеслись стремительно, и он не успевал их разглядеть, прежде чем они исчезали.

Все время в Крыму он был равнодушен к морю, и вот оно настигло его. Оно омывало его всего, оно вымывало все его мысли, оставляя влажный песок на дне, но потом возвращалось и одной волной смывало осевший песок. Море втягивало в себя всю его тоску, всю его боль и растворяло в своей зеленоватой воде.

Море ничего не просило взамен.

Ночью проводница просыпалась от страха. Она свешивалась с верхней полки, чтобы посмотреть на своего случайного попутчика. Он лежал неподвижно, тогда она тяжело спускалась вниз и вглядывалась в его лицо. Ей снилось, что он умер, и она боялась застать его мёртвым наяву. Она смотрела в его лицо до тех пор, пока он не начинал шевелиться, или прикладывала руку к его губам, чтобы поймать его дыхание.

Кожа на плечах и на груди проводницы покраснела и ныла от солнечных ожогов. Она сняла белую форменную рубашку, которую почему-то побоялась снимать перед сном, намазала плечи и грудь фруктовым кефиром и заплакала о чем-то своём.

Она знала, что в Харькове войдут пограничники, а он не проснется, а если проснется, то не сможет откупиться от них. И тогда они вытолкают его из поезда, протащат по перрону – их вряд ли заинтересуют его рубашки или поношенные кроссовки, а что будет с ним дальше, ей думать не хотелось.

Ноющая обожженная кожа успокоилась. Проводница снова набросила рубашку с влажными пятнами пота под мышками. Она подумала, что завтра она уже будет в Москве и на работу заступит её сменщица. А она вернется в свою маленькую, из двух смежных комнат, квартиру в Отрадном, где она жила с матерью и двенадцатилетним сыном. Она знала, что она все ещё молодая, и что молодость её продлится долго, и она ещё нескоро успокоится.

Дверь в купе открылась, и вошли пограничники.

– Кого везем? – и они указали на спящего. Проводница не знала его имени и поэтому ответила:

– Никого...

Пограничники выжидающе посмотрели на неё.

Она улыbnулась, заискивая.

– Он, вообще, как? – спросил один и толкнул спящего в плечо. – Он, вообще, живой?..

Ее попутчик вздрогнул во сне, натянул на себя одеяло, но не проснулся.

И она опять не знала, почему она это делает и почему она это говорит. Если бы её спросили, она бы не смогла объяснить.

– Давайте выйдем, – попросила проводница, – я сейчас все объясню.

Чтобы не бояться, она улыbnалась пограничникам в узком коридоре вагона, она не знала, кого она везет.

– Пожалуйста, не будите его, – попросила она. Пограничники переглянулись.

– Он что, перебрал? – спросил тот, что пытался разбудить её попутчика.

Проводница обрадовалась его вопросу, как спасению.

– Да, конечно, он выпил лишнее, – часто закивала она. – Ну, вы же знаете, как это бывает.

– Ну ладно, хватит, – перебил один из пограничников. Они удивлялись, почему она медлит.

– Платить будем?

– Конечно... – тут же согласилась она. – Я заплачу за него... Сколько?

Они тут же назвали сумму.

Проводница безропотно отсчитала деньги и протянула им.

Когда поезд тронулся, она смотрела в окно. Вокзальные выходы, перрон, пограничники, вышедшие из её вагона, – все удалялось, все уходило в какую-то свою, призрачную, нереальную жизнь. Пограничники, которым она только что заплатила, стояли на перроне и курили. Они уже забыли о ней.

Потом за окнами потянулась длинная, непроглядная ночь, и она снова заплакала о своём. В темном купе слышался её плач и ровное дыхание спящего.

Она не узнала его наутро. Он был спокоен и даже весел. Поезд подходил к Курскому вокзалу. Он насвистывал.

– Что это? – спросила проводница. – Что это за мелодия?  
– Так, один мой знакомый придумал, – с легкостью ответил он. – Пел её по подъездам и по кухням, когда-то давно...

– Вот как? – удивилась проводница. – А я её где-то слышала... – и она напела продолжение.  
Поезд остановился.

– Спасибо, что помогла, – сказал он.

– Не за что, – ответила она. – Сама не знаю, почему я тебя взяла. Меня как подменили... – и она вспомнила пограничников в Харькове. Он даже не слышал, как они заходили.

– Когда ты последний раз подавала милостыню?

– Не знаю, – задумалась проводница. – Очень давно... – но она не смогла вспомнить.

– Считай, что сейчас подала...

Он уже собрался выходить, но почему-то взгляделся в её лицо.

– Ты плакала, – понял он с сожалением.

– Нет, – и проводница прикрыла глаза ладонью, как будто бы закрывалась от солнца. – Просто я очень плохо спала.

– Ты плакала, – повторил он.

Он забыл её сразу же – толстую молодую проводницу с тонкой, почти детской кожей, мгновенно обгорающей от жестокого южного солнца, из поезда «Керчь-Москва» – по пути от вокзала к метро. И все, что произошло с ним летом, осталось где-то далеко, за пределами этой ночи, проведенной им в поезде. Море вымыло все.

Он спустился на станцию «Курская» и доехал до дома. Он был абсолютно спокоен.

Я стояла одна посреди опустевшего двора. Под ростки исчезли. На месте, где они только что курили, валялись затоптанные окурки. Зажигалки не было. Они унесли её с собой.

(Я шла по правильному пути, я знала, я была все ближе и ближе. Перебирая чужие жизни, я расчищала себе дорогу.)

Я их заметила ещё издалека. Они стояли тогда полукругом точно так же, как эти подростки. Они курили. Только одного из них я знала по имени, всех остальных – только в лицо. Я видела их мельком. Тот, которого я знала, жил в том же самом доме, что и Тень, в последней непроданной коммуналке. Его отец и старший брат сидели в тюрьме, его мать принимала пустые бутылки в «Приеме посуды», его соседями были две выживших из ума старухи. Ему могло быть сколько угодно лет – от четырнадцати до тридцати. У него и его приятелей были какие-то общие делишки с парнями, дающими лодки напрокат. Мы с Тенью никогда не боялись их. Смотрели на них, как на слякоть. Когда моя мать или отец Тени проходили мимо них, они замолкали и с ненавистью смотрели вслед. Нас они задирали, но мы с Тенью никогда не отвечали им.

Несколько раз я видела Хромого (так называла его Тень. Он никогда не хромал при ходьбе, но однажды мы увидели, как он бежит. Он слегка приволакивал ногу, а потом вдруг резко выкидывал её вперед, как будто бы пинал воздух, пытаясь сотрясти его до основания) – он крутился возле нашей с матерью машины. Заглядывал в салон через лобовое стекло.

– Урод, – сказала я, проходя мимо. – Машина на сигнализации.

Он молча посмотрел на меня – смерил взглядом с ног до головы.

– У тебя такой не будет никогда, – и я усмехнулась. – У тебя никогда не будет того, что есть у нас.

Я увидела, что в салоне на сиденье лежал какой-то журнал с фотографией моей матери. Оказалось, что Хромой смотрел на журнал.

Мы с Тенью почти не думали о них и почти никогда не говорили, но они мешали нам. Особенно Хромой.

Один раз они окликнули нас:

– Девчонки, хотите пива?

– А шли бы вы все, – ответила Тень, глядя сквозь них. Я на них даже не посмотрела.

– Хорошие девочки, – тихо сказал Хромой, но так, что мы слышали. – Скоро доиграются...

Мы ничуть не боялись. Мы даже не стали обсуждать между собой их угрозу. И мы бы забыли о них, если бы они нам не мешали.

«Гадина, – думала я, когда Тень увезли в Берлин, – сядишь где-нибудь там в Далеме среди подлинников, репродукции с которых мы разглядывали под партой...»

Мне так не хватало её, мы с ней были двумя подпорками мира, который сами же и создали. Мы были в нём полноправными хозяевами. И вот Тень ускользнула, а я осталась одна. И как же тяжело мне было удерживать его одной. Его образы наваливались на меня и требовали воплощения. Они преследовали меня даже во сне. Но что я могла одна? Все игры, которые приходили оттуда, были рассчитаны на двоих – Тень и её хозяйина. «Гадина, – думала я. – Я тут

одна, а ты болтаешься по Шарлоттенбургу, где-нибудь в египетском зале загляделась на головку Нефертити...»

Я не знала, в чем обвинить Тень, поэтому корила её Берлином. Я ходила по всем тем местам, где мы болтались с Тенью, я даже несколько раз залезала в подвал, где мы, сами того не зная, простились навсегда. Воспоминания наплывали на меня, и мне становилось полегче.

Я бродила по улицам до позднего вечера, иногда до наступления ночи. Куда бы я ни пошла, тень, моя собственность, послушно скользила следом. Я оборачивалась и кивала ей, она тут же кивала в ответ. С наступлением темноты она становилась длиннее. Мне нравилось. Это была моя игра яко бы на двоих. Я извернулась...

Так вот, в тот день они стояли полукругом – Хромой и ещё трое. Один был в солдатских галифе и рубашке, выпущенной наверх. Они что то говорили, но не между собой, они обращались к кому то, я не могла разглядеть издалека.

– Прости, – сказала я собственной тени. Тень тут же кивнула мне. – Придется приостановить игру... – Тень не возражала.

Хромой глубоко затынулся, щеки запали, и проступили широко посаженные скулы и над ними – зыбкие сощуренные глаза.

...Я сначала подумала, что она возникла из дыма. Они окружили её, но неплотно. Она в любой момент могла уйти от них, если бы захотела. Хромой курил ей почти в лицо, ей приходилось отступать, чтобы не наглотаться дыма. Кажется, она не курила никогда. Это была дочка мороженщицы. Ветер развеивал её осветленные волосы, а дым от сигареты Хромого был их продолжением.

– Я же сказала, – устало отвечала она на их возню, – только за деньги. А так – нет...

Их голосов не было слышно. Только гудение. Её я слышала четко – как будто бы она говорила где-то вдалеке, а её ответы вспыхивали в моем мозгу.

– Конечно, нет, – она отказывалась. – Бесплатно ничего не бывает... – и она засмеялась, но как-то слабо. Ей хотелось уйти, а она тратила на них своё время, кривясь от сигаретного дыма. На ней было какое-то простенькое серое платьице, но меня поразило то, что в руках она держала стопку ученических тетрадей в голубых обложках с таблицами умножения на обороте. – А потом, деньги можно достать, – и она обратилась к Хромому. – Ведь тебе много раз приходилось доставать деньги.

Хромой что-то пробасил в ответ, и, кажется, она согласилась. Или отказалась. Я не услышала. Когда я подошла, её уже не было, а Хромой и те трое по-прежнему стояли полукругом. Ветер трепал афишу, приклеенную к стене у «Ролана», он тогда только открылся. Афиша была серой, как заношенная тряпка, и они развлекались тем, что тушили об неё бычки.

– А где она? – подошла я.

Тень скользила за мной, а их тени лежали у моих ног. Я специально прошлась по ним, по их головам.

– Кто? – спросил Хромой, насмешливо глядя на меня.

Я подошла к ним вплотную, я просто вошла в их полукруг, и наполовину отклеивающаяся афиша хлестнула меня по лицу. Я разозлилась и дернула афишу на себя. От неё оторвалась грязная широкая полоса и обвилась вокруг меня, как заношенная юбочка. Хромой засмеялся. Его приятель в солдатских галифе отогнул край афиши, как будто бы задирает подол. Я посмотрела сквозь них. Они трогали меня не больше, чем уличная грязь. Я прошла в просвет между ними, пытаясь никого из них не задеть, так обходят грязь, чтобы не запачкать ботинки.

Они не хотели расступаться, но Хромой сказал:

– Отпустите её. Пусть пока походит, подышит свежим воздухом..

Меня ничуть не испугали его слова. Я повернулась к нему и в первый раз посмотрела прямо ему в лицо. У него был скошенный маленький лоб и тяжелая нижняя челюсть. Над глазами четко выступали надбровные дуги, а сами глаза глубоко запали и походили на мелкие замочные скважины, ключи от которых потерялись навсегда. В первый раз я почувствовала к нему жалость.

– Прошу тебя... – и я даже вспомнила его имя, – скажи мне, с кем вы только что говорили? Куда она пошла?

Хромой удивился, но удивление мгновенно сменилось в его глазах насмешкой или злобой.

– Ты как... – начал Хромой. Я знала, что он сейчас оскорбит меня, но мне было все равно.

– Прошу тебя... – снова сказала я.

– Ты с головой дружишь? – перебил Хромой.

– Иди к нам, цыпочка, – тут же подключился его приятель в галифе.

– Мы тебя согреем, – засмеялся третий. – Ты только маме не говори...

Я знала, они ненавидели меня, Тень и особенно мою мать и отца Тени.

Они грязно засмеялись, все четверо, и я тоже засмеялась, глядя на них со стороны.

Однажды Тень сказала, когда мы встретили их у её подъезда:

– Ты посмотри, они же вырожденцы.

– Ну да, я знаю...

Они прекрасно слышали нас, но нам было все равно. Точно так же мы могли обсуждать ботинки, выставленные в витрине.

– Папа увлекался антропологией, – продолжала Тень, – но недолго, пока ему не надоело. Он говорил, что по соотношению частей человеческого черепа можно определить свойства личности...

– У них неразвитая личность, – сказала я. – Она и не может развиваться.

Хромой замолчал и смотрел нам вслед, как мы поднимаемся по подъездной лестнице и стоим на площадке, ожидая, когда спустится лифт. Самым ужасным было то, что мы не собирались их задеть, мы даже не думали об этом. Мы просто видели их и обсуждали. И то, что у них может быть ответная реакция, мы не брали в расчет, ведь обувь из магазина не отвечала нам.

– Какая личность? – продолжала Тень. – У них недоразвиты лобные доли. Их головы, как футбольные мячи, а челюсти... – и она развела в стороны свои узенькие ручки, – ты только посмотри, выдвинуты вперед и прикреплены, по-моему, к вискам...

– Жалко, что их нельзя измерить, – сказала я. – Если бы измерить их черепа, а потом высчитать пропорции, получились бы, наверное, любопытные результаты. Можно было бы посмотреть по таблице...

– Тут и без таблицы всё ясно, – перебила Тень. – Видно на глаз. Они подходят только для грязной физической работы, желательно потяжелее.

Я обернулась на Хромого и его компанию.

– Кажется, они смотрят на нас, – сказала я.

Тень смерила их взглядом и пожала плечами:

– Ну и что?

Я в последний раз обернулась на них, скорее не на них, а на вход в кинотеатр «Ролан». Там была какая-то премьера. Небольшая, но дорого одетая толпа, машины. Отец Тени обязательно бы пригласил мою мать. Все это мне было глубоко безразлично, но я остановилась, я не могла отвести глаз: из дверей «Ролана» лилось прозрачное зеленоватое свечение, люди протягивали приглашения, переступали порог и исчезали в нем. Свечение разгоралось. Оно заливало улицу легкими волнами, незаметными никому, кроме меня.

Дочка мороженщицы снова стояла, окруженная компанией Хромого, в совсем дешевеньком, по-видимому, турецком платье. Они о чем-то проси ли её, но она отказывалась. Нет, я больше не велась на эту уловку ветра и надорванной афиши.

И вдруг Хромой заговорил.

Я поразилась: он обращался ко мне, и это были не угрозы и не грязная брань, это была осмысленная речь.

– Послушай, ты... – и он назвал меня по имени, что само по себе было невероятным. Такие, как он, никогда не обращаются друг к другу по именам. – Ты даже не представляешь, с кем ты связалась и куда ты лезешь...

Зеленые волны свечения накатывали на них одна за другой. Сначала они проглотили их тени, вытянувшиеся на асфальте, потом они прикоснулись к их ногам – залили их ступни и медленно поднялись до колен. Хромой и его компания странно преобразились. Они вытянулись и стали уже. Их глаза смотрели осмысленно, и сразу же становилось понятно, что их недоразвитые лица даны им только для того, чтобы прикрыться. Они просто закрывали то страшное, что стояло за ними, и что я остро почувствовала, но не могла выразить, потому что этот ужас находился за пределами слов.

– Мы знаем, – продолжал Хромой, и в первый раз в жизни его голос пугал меня. – Мы мешали тебе и этой твоей Хлипкой... – Так они называли Тень, – но теперь ты осталась одна, и мы мешаем только тебе.

Его приятель в галифе что-то крикнул, и двое других подхватили его крик, но я видела только их рвущиеся рты. А свечение мягко поднималось выше. Они уже стояли по колено в нем, как будто бы они тонули в зеленоватом Азовском море и не замечали, что тонут.

– Силы сейчас расставлены так, что у тебя есть все, – продолжал Хромой. – Но все это не важно. Мне ничего не стоит разобрать твою машину на запчасти, или повернуть игру так, что бы ты побиралась у метро и, изнывая, смотрела на нас. Мне ничего не стоит, но все это неважно, потому что соотношение сил остается прежним, и оно, – и тут он усмехнулся... – оно вполне устраивает меня.

Маски их лиц не означали уже почти ничего. Они были лицами уже очень условно, и то, что стояло за ними, то чудовищное, просилось наружу и вот-вот должно было вырваться, и, если бы я увидела их, какие они есть, это было бы непереносимо для глаз.

– Это наше место, – сказал Хромой. – Ты и Хлипкая, вы лазали туда, мы знаем. Но это наше место... И если ты ещё раз влезешь туда... – и тут все четверо засмеялись: они втягивали в себя воздух немо разинутыми ртами и резко выдыхали его. Воздух сотрясался, их силуэты становились зыбкими, как рябь на воде. – Если ты ещё раз влезешь туда, то мы тебе не простим...

– Это моё место, – тихо сказала я. – И я его хозяйка. Теперь оно только мое...

– Вот как? – и Хромой удивленно посмотрел на меня...

Я чувствовала, что теряю силы.

«Нашим местом» мы с Тенью называли шалаш, построенный прямо на дереве. Мы не знали, кто его построил, но только не Хромой и не его дружки, они не могли ничего создать, они могли только, как полчище крыс, обожрать, растащить, разорить.

Этот шалаш (мы с Тенью, что говорить! захватили его) представлял собой настил на двух раскидистых ветках, каждая из которых была толщиной со ствол молодого деревца. На настиле были установлены четыре подпорки, и сверху на них была положена крыша. Вместо стен стояли огромные картонные листы, в одном из которых мы с Тенью вырезали окно. Мы принесли туда доску, несколько кирпичей и деревянные ящики – таким образом у нас получились стулья и стол.

– Это наше место! – яростно сказала я.

– Кто бы спорил, – подхватила Тень и захлопнула крышку в полу, служившую входом.

Первым делом мы спилили нижние ветки, что бы дворовые дети и никто другой не смогли за лезть, потом смышленная Тень вырезала в коре зазубрины, и мы без труда поднимались в шалаш. О них никто не знал, они получились, как трещины, и их нужно было нащупывать на стволе.

Мы с Тенью перетащили в шалаш теплые одеяла и несколько подушек и по очереди убегали из дома и ночевали там длинными, летними ночами. Эта игра называлась «Ключи для сна»: наутро мы должны были пересказать все, что видели из шалаша.

Я лукавила. Я говорила не все, я говорила только о том, что творилось во дворе: Хромой и ещё один, не знаю имени, угнали машину из соседнего дома у такого лысого, знаешь? в очках, он, кажется, врач; дворник всю ночь пил водку с двумя бабенками из ларька у метро. Жопа, ты не поверишь! Шла через двор часа в два вместе с каким-то молодым парнем. Он проводил её до подъезда, и она о чем-то его просила. Она была пьяная, и он просто довел её до дома...

Тень в ответ рассказывала мне: не знаю, что нашло на Жопу, но среди ночи она пыталась влезть в наш шалаш, ты прикинь. – Я засмеялась. – Но это ещё не все – мой отец и твоя мамаша шли через двор. Она остановилась под деревом: «Я всегда в детстве мечтала о таком шалаше, а у меня никогда не было. Вот бы в него залезть...» А он: «Оставь в покое детей...» Тогда она обхватила руками ствол, ну, ты знаешь, да? чтобы он её оттаскивал, и вдруг присвистнула: «О! здесь отметины. Это по ним они забираются наверх!» Она свистит точно так же, как ты. К счастью, он утащил её в дом...

И мы снова смеялись.

Я думаю, что Тень тоже рассказывала мне далеко не все. Была ещё одна игра, ради которой я и называла шалаш «нашим местом». Она называлась «Прошлое, отпусти...» Сначала я вспомнила цыганку в луна-парке и её карты из цветастой колоды, потом я поняла, что вишу в воздухе, ведь наше место висело между небом и землей. «Нужно увидеть землю», – и я распахнула крышку в полу. Она была чёрная и влажная, ночная земля. Она дышала полной грудью, разморенная летом. Я смотрела в её лицо, земля смотрела в ответ. её грудь поднималась от дыхания, вдохи её были глубокими, до самых недр, а выдохи легкими. «Надо увидеть небо», – и я приподняла край крыши, как раз над входом в шалаш. Оно было таким же черным, но все в звездочках. Оно отвечало земле на все её вопросы и дышало с ней в такт. Оно связало землю, окутало её всю тесной, плотной пеленой, и им уже было никуда не вырваться друг от друга. Я увидела лицо неба, его полную луну в просвете между тонкими ветками дерева. Я подумала, что наше дыхание было в прошлом, настоящем и будущем, через него мы вдыхаем жизнь.

Мы вдыхаем настоящее, а выдыхаем прошлое. Значит, все прошлое можно продышать – вспоминать события и через дыхание возвращать силы, потраченные на них. Я дышала, подстраиваясь под ритм неба и земли, и в чёрный небесный просвет сквозь ветки дерева уходили воспоминания и уводили с собой чувства и людей, вызывавших эти чувства, а в обмен возвращалась сила горячими золотыми потоками. Она пронизывала меня и разливалась по телу, утверждая жизнь. Эту игру я утаила от Тени.

Ночами мне совершенно не хотелось спать – я была полна сил. И одеяла, которые мы притащили в шалаш, оказались не нужны – я вся горела.

– Эти твари залезли в наш шалаш, – сказала Тень на уроке Жопы. Жопа прервала объяснение и внимательно посмотрела на нас. Тень трясло. – Они курили там и прожгли несколько одеял, ну, это ладно. Они вели там свои мерзкие разговоры... Но самое ужасное – они залезли туда. Проникли... Ты понимаешь?

Я поражённо смотрела на Тень.

– Залезли, – повторила я так громко, что на нас обернулся весь класс. – Но как им удалось?

Тень легонько подтолкнула меня. Мы обе ровно сели и посмотрели на доску. К нашему удивлению, Жопы не сказала нам ни слова. Ещё больше мы удивились, когда она продолжила объяснение.

– Греческая трагедия, – сказала Жопы. Её взгляд, минуя класс, упирался в стену. – Это только три имени – Эсхил, Софокл и Еврипид. До нас дошли только их имена, это немного, правда? Но ими напитался весь европейский театр. Поскребите любую европейскую пьесу, и вы увидите – сами знаете кого... – вы увидите греков...

Мы с Тенью переглянулись – этого не было в программе. Тень реагировала быстрее. Она покраснела и захихикала, прикрывая рот ладонью, потом достала платок и сделала вид, что сморкается, чтобы подавить смех. Жопы никак не отреагировала, она продолжала:

– Трагедия греков заключалась в том, что люди были невольны в своих страстях. Они были только орудием рока. Боги ссорились на небесах и мстили друг другу через людей. Люди становились одержимы страстью, и ни один из них не мог отклониться от предначертанного. У них не оставалось выбора... – Жопы говорила совершенно спокойно. Её взгляд был направлен внутрь неё. Она что-то отыскивала в себе и теперь старалась разглядеть получше. Внешне её глаза равнодушно скользили по лицам учеников. Нас с Тенью она избегала. – Свобода выбора появилась только тогда, когда в мир пришёл Христос. Люди обрели волю. Если их захлестывала страсть, они могли предаться ей, но могли пойти по совершенно другому пути, то есть они могли ослепнуть, а могли сохранить зрение. Христос принёс в мир свободу...

Я оцепенела, слушая её. Тень снова меня толкнула, выводя из оцепенения. Все это время она что-то рисовала на клочке бумаги. Она подвинула ко мне рисунок, и я увидела лестницу. «Лестница Иакова», – пронеслось у меня в мозгу, и эта мысль обожгла меня. И тогда Тень толкнула меня в третий раз. Я посмотрела на неё. Она заговорила очень четко, её тонкие губы выгибались, чисто проговаривая слова:

– Они подставили лестницу. Простую деревянную лестницу. И забрались по ней... – она могла бы вообще не говорить. Я читала по её губам. – Эти скоты загадили весь наш шалаш. Его после них теперь чистить и чистить. Где они прячут лестницу, я не знаю...

– Свиньи, – выругалась я. – Грязные свиньи.

Тень согласилась. Она молча нарисовала стадо свиней, падающих в море с обрыва, и протянула мне листок.

Ночью мы влезли в шалаш обе.

– Посмотрим, что они скажут, когда застанут нас здесь... – шипела Тень.

Дома, окружающие двор, спали. И только бессонное окно Жопы одиноко горело в темноте. Мы видели на её подоконнике стопку книг, иногда она подходила и брала что-нибудь из стопки. Но вскоре её окно погасло.

– Почему ты не спишь? – спросила я Тень.

– Жду свиней... – ответила она. Тень сидела, облокотившись о картонную стену. – Здесь после них невозможно. – Она стучала пальцами о картон, выбивая какой-то мотив. – Ни сядешь, ни ляжешь, ни вздохнешь...

– Кстати, давай подышим, – предложила я и открыла дверцу в полу.

Тень понимала меня с полуслова. Она встала и откинула крышу шалаша как раз в том месте, в котором всегда отодвигала её я.

– Прошлое, отпусти, – произнесла я название игры, проверяя Тень. Она даже не удивилась. Она занималась вещами поважнее. Она водила руками, разглаживая потоки, поднимающиеся от земли и спускающиеся с неба. Она запускала туда ладони, как будто черпала воду и втирала воздух в себя.

– Откуда ты знаешь, что так надо? – спросила я, потому что делала то же самое.

– Мы, тени, живём в Элизиуме, – отшутилась Тень. – Мы смотрим наверх, в дольний мир, и во всем подражаем людям.

– Смешно, – отметила я, но не засмеялась, потому что на смех времени не осталось. Оно неумолимо пошло, пододвигая ночь к утру. Игра началась. К моему удивлению оказалось, что в неё можно играть вдвоем, во всяком случае, с собственной тенью.

Мы перестали ждать свиней, и они не пришли. Наутро мы узнали, что у метро «Чистые пруды» подчистую разграбили продовольственный ларек. Мы видели его выбитые стекла и опустевшие прилавки. Мы прекрасно знали, кто это сделал, но нам было все равно.

Это было наше последнее лето, потом началась зима, а потом мы с Тенью расстались навсегда...

– Ты всё поняла, детка? – говорил Хромой, а сияние захлестывало его. Он стоял по грудь в прозрачных зеленоватых волнах. – Ещё один раз ты влезешь в шалаш – и тебе придётся очень плохо...

– Свиньи, – сказала я, но мои слова до них даже не долетали. Они срывались с моего языка, ветер подхватывал их, проносил вокруг меня и возвращал мне.

– И даже если мы не увидим тебя в шалаше, – продолжал Хромой, – а просто пойдем, что ты там была, обнаружим твои следы, понимаешь? – и он кивнул мне, и трое других рядом с ним качнули головами. «Ещё немного – и их маски растают», – подумала я. – Тебе будет очень плохо, так плохо, что ты даже и представить себе не можешь...

Раздался выстрел или что-то упало. Я не успела определить свойства этого звука. Он оглушил меня, и после него все поменялось. Вернее, все стало таким, как было прежде. Сияние исчезло.

Передо мной стояла компания Хромого. Они обрывали афишу со стены. её ключьями играл ветер.

– Ещё раз влезешь, – крикнул парень в галифе, – мы тебе так засадим, цыпочка, не встанешь...

– Свиньи, – ответила я. – Грязные свиньи...

В этот раз они прекрасно меня услышали. Они закричали угрозы. Я отвернулась. Звук, оглушивший меня, оказался не выстрелом, просто захлопнулись двери в кинотеатр «Ролан», отсекая толпу попавших на фильм от тех, кому билетов не досталось. Зеленоватый свет исчез, вернее, он больше не вырывался на улицу. Он заполнял собой фойе «Ролана».

У входа стояла толпа хиппи, небольшая, человек пять. Моя мать одевалась под хиппи. Она привозила красивую дорогую одежду из-за границы или покупала её здесь, в дорогих магазинах, и с тоской смотрела на настоящих хиппи, сидящих на бульварах или у памятника Гоголю.

Отец Тени смеялся:

– Эти ненастоящие, – говорила он. – В вашей юности все было иначе...

Я поняла, что стояла слишком долго. Мне захотелось побежать. На ногах у меня были легонькие кеды с темно-синими рыбками на лодыжках. Я оттолкнулась от земли и побежала. Среди хиппи стоял молодой человек в расшитой джинсовой куртке и белых штанах. Его волосы доходили до плеч, даже спускались немного ниже. Они были черными и закручивались на концах. Он разговаривал с этой пестрой длинноволосой компанией, одетой в разрисованные лохмотья. Ему очень хотелось к ним, одновременно он боялся. Он специально оделся так, чтобы походить на них. Он ещё не привык к своей вышитой куртке и все время пытался засучить рукава, но они тут же опускались.

– Я из Кишинёва, – мягко рассказывал он. – Только что приехал, на днях. Собираюсь снимать кино...

– А ты уже что-то снял? – спросил один из хиппи.

– Ну, в общем, да, – так же мягко ответил он, но верить в его мягкость не хотелось.

– О чем? – среди хиппи стояла девушка в заношенных расклеванных джинсах, вокруг пояса шла какая-то надпись, но я не смогла её прочитать.

Он мягко вглядывался в лицо девушки, но так пристально, что она замолчала.

– Зачем рассказывать то, что лучше посмотреть? Хочешь посмотреть фильм? Он есть на кассете...

Я так загляделась на них, что упала и сорвала сумку с его плеча. Из сумки выпала кассета.

Я успела прочесть название фильма и его имя. Он молча наклонился и помог мне подняться.

– Извините, – сказала я, стряхивая пыль с колен. Я попыталась поднять его сумку и кассету, но он держал меня за руки и внимательно смотрел в лицо.

– Нет, это ты извини, – сказал он. – Ты бежишь, а мы стоим тут у тебя на дороге.

Девушка из хиппи засмеялась. Я удивилась, как он пристально меня разглядывал. Так близко разглядывать людей просто нельзя. Я даже опустила глаза.

– Может быть, вы отпустите меня? – спросила я, глядя на его руки, сжимавшие мои запястья. – И я побегу дальше...

Девушка из хиппи снова засмеялась, напоминая о себе. Она была красива, её лицо заставляло о себе думать.

– Ну, конечно, беги, – сказал он, и только когда я подалась вперед, чтобы побежать, он разжал руки. Мне было не больно, а скорее тепло после его касаний, но запястья затекли.

Я запомнила его, а он меня – нет. Когда мы встретились снова, он не узнал меня. Я изменилась, а он – почти нет.

– Ты помнишь меня, – спросила я и рассказала про кассету с фильмом, выпавшую из сумки.

– Конечно, помню... – мягко засмеялся он. Но он не помнил, я видела. Это был Первый. Так мы столкнулись с ним впервые. Его мягкость была вкрадчивостью, он нежно расставлял силки, но я поняла это слишком поздно.

(Я думала, что иду правильно. Я думала, что существует один единственный путь, и я нашла его, я шла через воздух, и сущности, которые встречала моя душа, носили человеческие обличья, иначе их вид невозможно было бы перенести. О том, что происходило в действительности, знала только моя душа. Я же только смутно догадывалась. Мы смутно догадываемся о жизни нашей души. Мы ничего о ней не знаем.)

Подростки, которым я отдала зажигалку, стояли у высохшего дерева, на ветках которого был закреплен наш шалаш. Ветки были спилены и, по-видимому, давно, от дерева остался только мёртвый ствол, от которого слоями отходила кора. В нескольких местах на коре сохранились наши с Тенью отметины – ступеньки.

– Тебя скоро спилят, – сказала я и припала к стволу.

Ствол был гладким и мертвым. Он ничего не мог рассказать.

(Я не знала вопросов, которые задавали моей душе, и я не знала, что она ответила на них. От её ответов зависел её дальнейший путь, но я чувствовала одно – она плутала в воздухе, а ей нужно было подниматься выше и выше.)

– Почему ты мне не сказала? – спросила мать, приоткрыв дверь в ванную. Я забыла закрыть её на задвижку. Я заталкивала перепачканное кровью бельё и одежду в агрегат стиральной машины.

– О чем? – я даже не посмотрела на неё. Я засыпала порошок.

– О том, что ты взрослеешь, – и мать указала на пятна крови.

Тень к тому времени уже два дня как уехала.

– Почему я должна тебе говорить? – усмехнулась я, думая про Тень, как она, заплатив мелочь и получив в обмен билет, проходит в зал древних греков и замирает перед статуей Аида. – Я вполне справляюсь со своим взрослением.

Я включила стиральную машину. Бельё и одежда закрутились в потоках вспененной воды.

– Ты изменилась, – сказала мать, вглядываясь в меня.

– Тебя это удивляет?

– Я не знаю, – задумалась мать. – И да, и нет...

– Ну, конечно, – злилась я. – Теперь мне приходится пихать в трусы всякую гадость и с ужасом думать – не перемазались ли мои белые штаны кровью... – Мать даже не слушала меня. Она что-то пыталась увидеть. – Ну и прочие другие неприятности... – закончила я.

– Ты ничего не знаешь, – сказала наконец мать.

– Да, – согласилась я, – я многого не знаю, а когда догадываюсь, то уже слишком поздно.

Но мы с ней подразумевали разные вещи.

– Ты думаешь, что из ребенка ты превращаешься в девушку, которая может участвовать в так называемой взрослой жизни, и поэтому злишься, – поняла мать.

– Меня эта взрослая жизнь очень мало интересует, – отрезала я, – и я ещё очень хорошо подую маю, участвовать в ней или нет.

– Меня она тоже мало интересует, – вздохнула мать. – Тебя то – конечно... – усмехнулась я.

Но мать пропустила мою насмешку.

– Есть другая жизнь, которую практически никто не замечает или не хочет замечать, – грустно сказала мать. – Но она существует. Мы живём в незнании, а это мир знания... Так вот что я тебе хочу сказать: матка, из которой вытекает кровь, в обычной жизни используется как орган деторождения, а в более тонкой структуре тела – это твои вторые мозги. И когда матка кровоточит, женщина находится на грани миров. Она связана с тонким миром гораздо сильнее, чем мужчина. То, что они пытаются получить годами, нам дано от рождения. Мы сильнее их, только многие из нас этого не знают...

Слова матери поразили меня. Прежде она никогда так со мной не говорила.

– Все это чушь, – задумалась я, – которую ты вычитала из каких-то полуфантастических книг. Так нельзя жить. Это нереально.

– Живи как хочешь, – спокойно ответила она. – Ты свободна. Тебя никто не будет заставлять насильно. Моей задачей было объяснить тебе, как все происходит на самом деле. Я только выполнила свой долг. Кстати, а что такое реальность?

А я имела в виду кое-что другое. Приблизительно за месяц перед отъездом Тени мы зашли к ней. Я не помню, что нам нужно было. Кажется, Тень хотела показать мне наброски, сделанные карандашом, которые её отец купил у арабов во Франции за бесценок. Он говорил, что они сделаны в начале века никому не известным художником. Они изображают Аид. «Они прекрасны», – добавлял её отец.

– Есть неплохие, – рассказывала Тень, когда мы поднимались по лестнице. Лифт не работал. Хромой с приятелями что-то отвинтили в его кабине.

– А есть очень странные, понимаешь? Ну, там Харон, например, перевозит души через Лету. Они платят ему, все как положено, и только потом заступают в его лодку.

– И что странного? – удивилась я.

– Они выглядят как дети, – и Тень принялась искать ключи от квартиры в сумке с учебниками.

– Может быть, они и есть дети? Ведь дети тоже умирают...

– Вот мы, например, – пошутила Тень.

– Нет, мы живые, – отмахнулась я.

Мы переглянулись и засмеялись. Я всегда была выше её где-то на полголовы, а тут вдруг неожиданно заметила, что она почти догнала меня.

– Каблуки, – и Тень, мгновенно поняв моё замешательство, указала на ноги.

Я посмотрела вниз. Пол в её подъезде был выложен мозаикой. её ноги стояли на темно-зеленой спирали, закрученной по часовой стрелке. Я стояла на точно такой же спирали, только закручена она была в обратную сторону.

– Никак не могу найти ключ, – Тень тряхнула сумку, и он тут же выпал. Она хотела нагнуться за ним, но я сказала:

– Не надо... – ключ лежал между спиралями. – Дверь открыта...

Мы снова переглянулись: дома у Тени никого не могло быть, но поразительным было то, что мы минут пятнадцать стояли перед дверью и не замечали, что она не заперта...

Мы шли по коридору. Он был тёмным и пропах крепким сладковатым табаком.

– Наверное, это путь детей, – сказала я. – Они точно так же несут монеты во рту и выплевывают их в лапу Харону, а потом плывут вместе с ним по воде, слушая плеск волн о деревянный корму...

– О чем ты? – Тень остановилась. Обе мы отразились в зеркалах, развешенных по стенам в коридоре. Наши лица выглядели чужими, и я сначала не узнала отразившуюся Тень, а потом не узнала себя. – Так о чем ты? – переспросила Тень.

– О тех набросках, которые ты мне собираешься показать...

Тёмный паркетный пол пересекала узкая дорожка света. Она лилась из дверей библиотеки, которую отец Тени называл своим кабинетом.

Мы открыли дверь и очень тихо вошли.

По всему полу библиотеки были раскиданы наброски, купленные у арабов. Они были не про сто свалены в кучу, как могло показаться, они лежали в строгой последовательности. Сначала – смерть, затем – промежуток между мирами, затем переправа через Лету, нарисованная несколько раз...

– Вот, этот, – прошептала Тень и указала куда-то перед собой. Но я смотрела совершенно в другом направлении.

Моя мать, в тёмно-зеленом платье, с осветлёнными бледно-желтыми волосами, похожими на раскаленный береговой песок, на котором ветер надул мягкие волны, сидела на подоконнике покрытого наледью окна. Она отодвинула тюлевую штору до середины окна, и солнечный свет рассеивался, проходя сквозь неё, накладывая тенью копию узора на лицо моей матери. На её плечах слегка примялась чёрная плетёная шаль с красными кистями.

Отец Тени лежал на диване и курил сигареты со странным сладковатым запахом, к которому я никак не могла привыкнуть. Иногда Тень таскала их у него из пачки, и мы раскуривали их. Они ничем не отличались от обычных сигарет. На нем была узкая чёрная водолазка и такие же чёрные брюки, подпоясанные ремнем с серебряной пряжкой. От зимнего света, проникающего сквозь замороженное окно, его лицо казалось бледным и удивительно молодым с мягкой двух дневной щетиной. Тень совершенно на него не походила, только какие-

то черты лица и манера говорить отдаленно напоминали его, как будто бы вводу капнули краской, и она почти полностью растворилась.

– Почему ты не хочешь поехать в Берлин? – равнодушно спросил он.

– Потому что тебе все равно, – тут же ответила мать. – Ты только послушай себя, послушай, как ты говоришь...

Они не видели нас с Тенью. Стеллажи с книгами стояли не только вдоль стен, но и отдельным рядом делили комнату пополам, закрывая входную дверь.

– Ты же все знаешь, – сказал отец Тени совершенно другим тоном, – почему ты не хочешь жить в Берлине?

– Потому что я живу в Москве, – спокойно ответила мать. Она взяла из его рук сигарету и затянулась. – Как ты можешь это курить? Очень приятный запах и совершенно бесцветный вкус...

– Что произошло? – спросил отец Тени, и его голос задрожал. – Что произошло между нами?

– Ничего, – спокойно ответила мать. – Просто я устала... Есть другая жизнь. Совершенно другая жизнь...

– Без меня, – перебил отец Тени.

– Без тебя, – согласилась мать. – И я хочу уж если не прикоснуться к этой жизни, то хотя бы представить себе, какая она...

Отец Тени рывком поднялся с дивана и подошел к моей матери. Она так же резко обернулась к нему... И вдруг заметила нас. Наши тени падали из-за стеллажа на паркет.

– И долго вы здесь стоите? – спросила она.

– Только что вошли, – ответила я. Нам с Тенью пришлось покинуть наше укрытие.

Ее отец обернулся. Он был бледен, как печатная бумага. Его трясло. Я никогда не знала его таким.

– Что вам надо? – крикнул он и тут же перевел взгляд на Тень. – Что тебе надо?

Губы Тени дрожали. Она не знала, что ответить. Ей как всегда хотелось спрятаться за меня, но она не смела.

– Перестань на них кричать, – вступилась мать и тут же обратилась ко мне: – Меня вызвали в школу. Только что позвонили из учительской...

– Это Жопа, – сказала я, – она взбесилась по весне...

– Не смей её так называть, – сказала мать.

– А почему вы так её называете? – неожиданно заинтересовался отец Тени.

– Почему? – искренне удивилась я. – Она неряшливо жрёт, она хватается руками все булочки в школьном буфете, и их потом никто не покупает. Они все мятые после неё. Она лает, как только видит нас, и изо рта у неё брызжет слюна. Она непотребна. Она – Жопа.

– У тебя рот, как помойка, – сухо сказала мать. – Ты только послушай, что ты говоришь.

– Вам нужно денег? – спросил отец Тени, пытаясь скрыть раздражение.

Тень испуганно кивнула.

Я пожалала плечами. Нам не нужны были деньги, мы не знали, куда их девать. Отец Тени почти никогда не говорил с нами серьезно. Но он всегда давал нам книги, альбомы по живописи, фильмы. И они с моей матерью заваливали нас тряпками и деньгами. Мы могли купить все, что захотим, но мы ничего не хотели. Лет в одиннадцать мы с Тенью посмотрели фильм «120 дней Содома». Нам никогда ничего не запрещали.

Мы сидели перед телевизором прямо на ковре.

– Я сделаю потише, – сказала Тень и взяла пульт. – А то отец войдет.

– Что ты его все время боишься? – усмехнулась я, пытаясь задеть Тень, чтобы подчеркнуть своё превосходство.

– Я не боюсь, – спокойно ответила она. Мои слова её ничуть не задели. – Просто мы взяли ключ от ящика с кассетами из машины отца. Я не хочу, чтобы он орал и бился головой о стены, обнаружив пропажу.

Тень затрясла головой и широко раскрыла рот, изображая своего отца. Но мы не успели рассмеяться – открылась дверь, и он вошел в комнату. Мы резко обернулись и замерли. Мы смотрели на него, а он смотрел на экран.

– Сейчас заорет, – сказала я Тени одними губами.

Тень молча кивнула, согласившись. Мы ждали.

– Почему ты ушел? – спросила моя мать откуда-то издалека. Из глубины соседней комнаты.

Он вздрогнул, выходя из оцепенения.

– Сейчас вернусь, – ответил он и тут же послушно пошел на её голос. На пороге комнаты он ещё раз коротко взглянул на экран и резко отвернулся, чтобы снова не застыть неподвижно.

– Я могу смотреть только на этот свет у Пазолини, – слышали мы. – Часами, заворожённо, не отрываясь. И мне уже неважно, что происходит на экране. Что бы там ни происходило – действие, его мораль, теряет для меня всякий смысл. Дайте мне только этот свет, и я буду на него смотреть все время, пока он будет длиться. Только этот свет, и больше я ничего не хочу. Но после него я долго не могу смотреть ни на что другое, – и отец Тени засмеялся.

Нас он даже не заметил.

– Ты совершенно равнодушен к детям, – тихо сказала мать.

– Они совершенно бесполезны.

– Почему? – засмеялась она.

– Дети мешают любовникам, – объяснил он ей. – Идеальные любовники счастливы друг с другом, а дети отвлекают их на себя. Дети – это признак несчастья. Они указывают на то, что между любовниками легла трещина...

Нельзя сказать, чтобы он совсем не заботился о Тени. Она всегда была здорова, хорошо одета, она хорошо училась. Он вполне выполнял свой долг, но то, что происходило с Тенью в действительности, его совершенно не волновало.

Отец Тени вытащил из бумажника несколько сотен и протянул нам:

– Этого хватит?

Тень кивнула и послушно взяла деньги.

– Вообще то нам нужно было кое что другое, – сказала я и улыбнулась её отцу.

– Что? – спокойно спросил он. Я знала, что сейчас он закричит.

– Эти наброски, купленные у арабов в Париже, – все так же улыбаясь, ответила я. – Мы пришли их рассмотреть.

Он тут же нагнулся, схватил с пола первый попавшийся лист, именно тот, на который мне указывала Тень, быстро свернул в рулон и протянул нам.

– А теперь пошли вон, – и он улыбнулся мне в ответ. – Обе...

Тень пятилась к двери, стараясь не зарыдать. Она боялась отца. А я его не боялась. Мне хотелось остаться. Я посмотрела на мать, но она напряженно молчала.

Уже в коридоре мы услышали:

– Поедем со мной, – умолял отец Тени. – У тебя останется все, чем ты дорожишь...

Но что ответила моя мать, мы недослушали. Мы отправились в комнату Тени смотреть рисунок. Я не знала тогда, что жизнь, в которой находимся мы с Тенью, подходит к концу и вскоре оборвется совсем.

– Может быть, лучше к тебе пойдём? – затравленно спросила Тень. – А то они сейчас сцепятся...

– Пускай, – и я махнула рукой. – Пусть делают что хотят, нам тоже есть, чем заняться.

И развернула рисунок.

Все было именно так, как говорила Тень. Я подумала, какой слабый у неё голос, и к концу фразы он бессильно гаснет, как распадающиеся угли.

Рисунок состояли из трех частей: дети платили Харону и заступали на его судно, только, в отличие от взрослых, они выплевывали половину монеты, их переезд стоил дешевле. Его судно покачивалось на волнах Леты, от волнующейся воды исходило сияние. Хотя набросок был выполнен графитным карандашом, я сразу же узнала: сияние было зеленым, как ночное мерцание во время полной луны. Лодка скользила по прозрачной воде Азовского моря (я сразу же узнала и его), по берегу которого была растянута череда из двадцати двух бухт, над которыми на скалах в сумеречных печальных садах стоял жреческий город Тор, навеки исчезнувший с земли. Я помнила смутно, как сквозь сон, что мой отец держал меня на руках, стоя на вершине скалы, нависающей над морем. Он показывал груды камней, бесформенных, как облака, ведь облака могут походить на что угодно, и говорил, что это древний маяк. Ветер дул со стороны степи, он был теплый и нес в себе горечь от цветения трав. Я смотрела на прекрасное юношеское лицо отца, а он шурился от сияния моря, и я думала, что так будет всегда. Потом он засмеялся от неожиданности, потому что подошел кто-то из археологов и сфотографировал нас. Потом отец исчез, и я не знала, как это произошло. Он все время жил с нами, а потом его вдруг не стало. Когда через несколько лет я спросила мать: «Где отец?», – раньше я почему-то не догадывалась, что можно задать ей этот вопрос, – она ответила: «В этой жизни его больше не будет». – «Он оставил нас», – поняла я. «Он умер», – сказала мать. Но я знала: он не мог умереть. Так говорили всем детям, из семей которых уходили отцы. «Он просто бросил тебя», – сказала я матери. «Можно сказать и так, – согласилась она. – В этой жизни он бросил нас обеих...»

Вместо школы она привела меня на Ваганьковское кладбище и показала его могилу. И я тут же узнала его лицо с прищуренным взглядом на фотографии, вделанной в крест. Он протягивал руки в сторону скал, но его руки были пусты. Из его рук на фотографии вынули меня, прежде чем поместить её на могильный крест. «Он разбился на самолёте, – сказала мать. – Эти самолёты – просто какой-то ад... Ты слышишь?» – «Слышу...» – кивнула я, удивляясь, что меня нет на снимке. «Они бьются, как посуда на кухне», – и мать затрясло. Она старалась никогда не летать самолётами. Когда мы уходили с кладбища, мать сказала: «Это была его последняя фотография...» – «А потом он оставил нас, – закончила я. – Оставил навсегда...» – «Почему навсегда?» – и мать искренне удивилась.

Лодка Харона останавливалась в каждой бухте, и дети теряли связь с землёй. Когда они только вступали на борт лодки, из их сердец тянулись нити, связывающие их с прошлым. Но в каждой бухте они становились все тоньше и тоньше. Не которые из детей купались в воде, пытаясь прокатиться на волнах Леты, и Харон терпеливо ждал их. Он стоял на носу лодки и смотрел в подзорную трубу, пытаясь разглядеть древний город.

После того как лодка проплыла мимо маяка, некоторые из детей высаживались в бухтах и по скалам поднимались в город. Его ворота тут же раскрывались, из них лилось сияние, и дети исчезали в этом сиянии, и их последующий путь терялся за пределами рисунка. Другие оставались в бухтах и мастерили маленькие парусные корабли и пускали их по воде, или, взяв маску и ласты, ныряли в Лету, на поверхности которой дрожало отражение древнего города, и их путь тоже уходил за пределы рисунка.

Итак, лодка Харона опустела, дойдя до самой последней бухты. Сюда он привез только троих детей и вместе с ними сошел на берег. Всё время, пока Харон находился среди детей, он не был чудовищем. Он был прекрасным умным псом с белоснежной шкурой в чёрных отметинах. Берег последней, двадцать второй, бухты был не песчаным, а воздушным. Они высаживались на облака. Облака слились в огромного орла с распростертыми крыльями. Двое детей спрятались под его крылья, а третий сел к нему на спину. Орел понес их в небо, и они стали облачными детьми. Харон, превратившись в облачного пса, летел следом. Неожиданно ребенок, сидящий на спине орла, прыгнул и затеял возню на небе с облачным псом. Двое других выглядывали из-под птичьих крыльев, как день и ночь или как смерть и сон. Облачный ребенок оседлал облачного пса, и они понеслись по небу вслед за орлом. Ребенок ехал задом наперед и смотрел в прошлое. Череда из облаков терялась в небе, и я не знала, что с ними происходило потом.

Потом мы с Тенью шли по бульварам, и это был один из последних наших важных разговоров.

– Они говорят, что у нас недоразвитые чувства, – сказала Тень.

– Кто они? – спросила я.

– Мой отец и твоя мать. Кто же ещё может обсуждать нас? Я подслушала их позавчера ночью, когда ты спала в шалаше...

– Ты знаешь, что такое недоразвитые чувства? – поразилась я. Тень задумалась и пожала плеча ми. Она не знала. – Это развитые, изворотливые мозги и развитая физиология, инстинкт, понимаешь? и при этом – полное отсутствие эмоций, их просто нет...

– Забавно, – Тень попыталась представить то, что я только что рассказала, и ей стало страшно.

– Такое существо, – продолжала я, – называется химера. Мы с тобой две химеры в их глазах.

Тень промолчала. Она испугалась сначала за нас, а потом за них. Так страшно они заблуждались.

Хромой и его компания хотели запугать меня, но в то время (Тень уже год как уехала), каждую встречу, каждый разговор, малейшее событие я прочитывала как дорожный указатель, чтобы не блуждать вслепую. Хромой указывал мне на шалаш, о котором я напрочь забыла.

Квартиру, в которой жила Тень вместе с отцом, купил какой-то банкир. Он закрыл подъезд и поставил охрану, и ровно через месяц его там убили. Я видела фотографии в газете. Он лежал в коридоре с простреленной головой. Уезжая, отец Тени оставил чучела животных и птиц, привезенные им из экспедиций, и банкир почему-то сохранил их. Мой любимый странствующий альбатрос по-прежнему стоял в коридоре, раскрыв крылья. Он был белоснежным, с желтым клювом, со жгучей чёрной полоской на концах крыльев. И прямо перед ним, раскинув руки, лежал новый хозяин квартиры. Его глаза были открыты. Он внимательно смотрел на пятно собственной крови на белоснежной птичьей груди и сильным костяном клюве. Между мёртвым хозяином и чучелом птицы стояла позолоченная табличка «Странствующий альбатрос».

Я больше никогда не заходила в их двор. И даже после школы я не заглядывала туда. Я спокойно шла вниз по бульварам или зачем-то ехала на такси, чтобы потратить деньги, которые продолжала давать мне мать.

Мне нужно было провести ночь в шалаше и продышать воспоминания о Тени. Тогда бы она отпустила меня. О том, что туда может прийти Хромой или кто-то из его дружков, я даже не думала. Я просто не брала их в расчет.

Ночь выдалась теплой. Она прекрасно подходила мне, если бы не запах гари. От сильной жары под Москвой горели торфяные леса, и над городом висел чад, распалюющий голод. Вдохнув чад, хотелось бежать, куда хватит сил, и даже когда они кончатся, не останавливаться. Голод казался неутолимим. Он гнал все дальше и дальше без цели и смысла.

Я собрала рюкзак, вышла на бульвар часа в два ночи и побежала. В рюкзаке лежал спальный мешок, который мы с Тенью стелили на пол вместо коврика, несколько свечей и «История живописи», так и оставшаяся, папка с рисунками, спички и несколько сигарет со сладковатым запахом. Я стащила их из пачки, которую мать забыла в гостинной. Она курила очень редко, но именно эти сигареты, и всегда оставалась недовольна: «Совершенно тусклый вкус, как бумага», и тушила в пепельнице окурки.

Когда я залезла в шалаш по отметинам на стволе, я даже не разозлилась. Я принялась приводить его в порядок, ведь не злятся те, кто пришел убирать хлев. Я просто выкидывала весь хлам: пустые и наполовину пустые бутылки, колоды карт, пивные банки с окурками, порнографические журналы (у нас в школе их называли «Мясо»), несколько перочинных ножей и плеер с кассетами. Я торопилась. Ночь была на исходе, а я ещё даже не начала. Кое-как вычистив шалаш, я зажгла сразу несколько свечей и стала ходить вдоль его стен, останавливаясь в каждом углу. Так я обошла его три раза. Потом я зажгла все оставшиеся свечи и поставила их в центре, как раз в том месте, где открывался люк в полу и ровно над ним приподнималась крыша; и стала ждать, чтобы они прогорели. Я в точности повторяла действия Тени, когда она «выжигала следы этих скотов», но загляделась на огонь, и тут же увидела себя высоко в воздухе, а внизу, в кольце огня, лежала Москва. Круг огня сжимался, Москву затягивало дымом, и она задыхалась в жирной пелене чада.

Огонь отвлекал меня, но из папки с рисунками выпал тетрадный лист, исписанный алгебраическими задачами, на обороте было нарисовано стадо свиней, бросающихся в пропасть с обрыва. На дне пропасти бушевало море. Я сразу же узнала рисунок и вернулась обратно. Я приколотила его к картонной стене шалаша, потом затянулась «тусклой» сигаретой, но не стала курить. Мне нужен был только её дым.

И вот я уже вижу утро из прошлого – вдох-выдох. Я бегу по улице. Мы повздорили с Тенью. Я не помнила причины нашей ссоры, но мне захотелось изучить, насколько Тень может подчиняться. Она просила у меня прощения, но я молчала. Я ждала, когда же она остановится и оставит меня. Но Тень не останавливалась, когда её слова иссякли, она зарыдала, но я и тогда не обернулась – вдох-выдох. Печаль и отчаяние оставались в прошлом, а сила, потраченная на них, медленно втекала в меня. Она походила на тонкую, но очень плотную энергию, и чем больше её вливалось в меня, тем спокойнее я становилась – вдох-выдох...

Я шла по улице и слышала плач Тени, бегущей за мной. Она преследовала меня, умоляя остановиться и подождать, как провинившийся ребенок, которому сказали: «От тебя уходят родители», и якобы уходили от него, или, но это я узнала гораздо позже, – как любовник, которого оставляли навсегда.

Я думала тогда, что все действия Тени искренни, а это была её изворотливая игра – вдох-выдох...

Я остановилась у книжного магазина и наконец обернулась:

– Жди здесь...

Она кивнула мне, улыбнулась и вытерла слезы со своего детского лица.

Они, все трое, стояли в «Букинисте». Я так и застыла с раскрытой книгой в руках, лишь бы их не спугнуть. Они не замечали меня, потому что я находилась слишком далеко. Я знала, что через какое-то время начну слышать их голоса.

Дочка мороженщицы разговаривала с юношей лет двадцати, я не помнила его имени. Он когда то был неплохим вратарем, но неожиданно бросил хоккей и начал петь. Его концерты назывались «квартирники», потому что он пел в основном на кухнях. Отец Тени как то предложил: «Давайте позовём его к нам. Пусть споёт...» – «Как хочешь», – безразлично пожала плечами моя мать. И на этом всё затихло.

Дочка мороженщицы стояла, слегка опустив голову. В руках у неё снова была стопка ученических тетрадей. Она открывала их наугад и что-то читала. её плохо выкрашенные волосы

снова закрывали лицо. Иногда она отрывалась от чтения и что-то отвечала вратарю или даже смеялась, если он шутил.

Третьего, он стоял в стороне у книжного прилавка и пытался изображать равнодушие, я видела несколько раз, но почти ничего о нём не знала... Он был моложе вратаря года на четыре и зачем-то таскался за ним на хоккей. Он даже не всегда попадал клюшкой по шайбе, но ему было всё равно, он неотрывно следил за вратарем. Я думала, что между ними – то же самое, что у нас с Тенью, но между ними было совсем другое. Это был красивенький и, наверное, недалекий мальчишка, который, склонив голову набок, думал, что кажется равнодушным, а сам преданно, по-щенячьи, смотрел на вратаря.

– Ты придешь? – спросил вратарь у дочки мороженщицы. (Как я и думала: я начала их слышать. Но эта жизнь, где были вратарь и изможденный мальчишка, и в которой я не участвовала, но она разворачивалась передо мной, как сон или фильм, – эта жизнь тоже была на излете. В своём яростном поиске я исчерпала и её.)

– Ты придешь? – повторил вратарь. Он скорее умолял, чем спрашивал.

Она оторвалась от чтения и внимательно посмотрела на него.

– Сколько денег?

Он назвал сумму и тут же добавил:

– Это всё, что у меня есть... Но потом я принесу ещё ... Мне должны деньги. Очень много...

Понимаешь?

Она кивнула. Она смотрела сквозь него, что-то подсчитывая в уме.

Третий стучал пальцами по стеклу прилавка. Он даже отошел, чтобы не слышать их.

– Ты можешь заплатить вперед? – спросила дочка мороженщицы.

– Могу, – он приблизился к ней, но она тут же отошла, чтобы он случайно её не коснулся.

– Прямо сейчас... – она все подсчитала и выжидающе смотрела на него.

Вратарь тут же протянул ей деньги.

Третий в это время попросил продавщицу показать три книги, выставленные в витрине. Он раскрыл первую, лежавшую сверху, и попытался вчитаться.

– Извини, – подошла к нему дочка мороженщицы, – но эти книги покупаю я. Все три...

Он даже не удивился. Он отступил, безропотно отдав их ей. Она протянула деньги, только что взятые у вратаря, продавщице. Их хватило ровно на покупку книг.

– Что это? – удивился вратарь.

– Фёдор Сологуб, – сказала дочка мороженщицы, – три тома из собрания сочинений.

Прижизненное издание.

– А кто он был?

Она посмотрела на него с сожалением:

– Так, один кухаркин сын, ставший учителем...

Я прекрасно помнила эти книги. Отец Тени как то сказал: «Это ценное издание. Было бы оно полностью, я бы купил... А так – зачем мне разрозненные тома?»

– Сегодня вечером у меня концерт, – торопливо начал вратарь. – Я только его отыграю и сразу же уйду. Я не останусь с ними...

– Да не торопись ты, – и дочка мороженщицы засмеялась, – я тебя подожду.

– Ты придешь? – вратарь не верил себе.

– Мы же договорились... – и она уже собралась уходить, но вдруг протянула ему тетради. – Я совсем забыла – это тебе. Я давно хотела тебе их подарить.

– Почему ты пишешь в тетрадях? – спросил вратарь, открывая их наугад и вчитываясь в первые попавшиеся строчки.

– Сологуб писал в школьных тетрадях, – ответила она. – Меня всегда удивляла стопка тонких тетрадей в клетку с чистыми листами. И вдруг на этих чистых страницах появляется роман. Тетрадь кончается, а роман – нет, и требует следующих тетрадей. И вот эта стопка не с классными бездарными работами, которые ему нужно проверять, а с романом, представляешь? Но тебе, наверное, всё равно...

– Почему ты даришь мне эти тетради со стихами? – спросил вратарь.

Она задумалась, прежде чем ответить.

– Потому что я не могу больше с ними жить...

Вратарь открыл тетрадь, лежащую сверху, и прочёл вслух:

– *«Ты убедишься, узнаешь однажды, что нынче дочери светлее своих матерей, а сыновья – стремительнее отцов»* – из письма Романа Н... А кто такой Роман Н.?

– Какая разница? – дочка мороженщицы посмотрела на дверь, на пороге которой томилась Тень; ей пора было уходить...

Но вратарь не отпустил:

– Я все должен знать про твой подарок.  
– Ну хорошо, его фамилия Назаров. Он когда-то жил в Александрове. Вряд ли тебе о чём-то всё это говорит.

Дочка мороженщицы сделала шаг к дверям, но он схватил её за руки.

– Ты любила его?

Она вспомнила что-то:

– Да...

– А меня?

– Нет, – спокойно ответила она и попросила: – Мне больно. Пожалуйста, отпусти. Придется тебе полюбить кого-нибудь другого, или что-нибудь. Мне все равно...

(Они выдыхались. Я знала, что очень скоро они исчезнут. Я не пыталась их удержать, но они почему-то не уходили.)

Вдох-выдох – мне дышалось настолько легко, что я уже перестала замечать дыхание, как мы не замечаем его в обычной жизни.)

– Между любовью и знанием я выбираю знание, – сказала дочка мороженщицы. Он больше не держал её. Она могла уйти в любой момент.

– Что ты знаешь о любви? – засмеялся вратарь. – Знание невозможно без любви. Христос сначала любил Иоанна Богослова и только потом как следствие передавал ему знание. Иначе оно не имело бы смысла.

– Что ты знаешь о Христе? – спросила она, внимательно глядя на него.

Я думала, она пройдет мимо меня, и я увижу её лицо, но она прошла слишком далеко, откинула волосы со лба и даже мельком взглянула на меня.

Я ничего не успела понять.

Она тут же заговорила с Тенью на улице. Показала ей три книги Сологуба.

– Кто это был? – спросила я вратаря и Третьего. Они так тепло смотрели на меня, что не стали бы мне врать.

– О ком ты? – мягко улыбаясь, спросил вратарь.

– Об этих тетрадах, – ответила я, с тоской предчувствуя их ответ. – Как её звали?

Вратарь и Третий переглянулись, но как-то иначе, – мы с Тенью переглядывались по-другому.

– Я только что купил их в «Букинисте», – ответил вратарь. – За бесценно... Это чьи-то стихи.

– Чьи? – может быть, он сжалится надо мной и скажет хотя бы, как её зовут.

Вместо ответа вратарь открыл одну из тетрадей и прочел:

– *«Тени деревьев бежали за мной, пытаюсь слиться с моими шагами, но им доставались только следы на песке...»*

Кажется, Третьему понравилось. Он подошел к вратарю и через его плечо прочел:

– *«Человек, прошедший через спираль, переживает превращение...»*

Они снова переглянулись и засмеялись. Они издевались надо мной.

– Послушай, – вратарь пытался казаться серьезным: – А это не ты написала? Слишком пристально ты разглядываешь эти тетради.

– Это не твой почерк? – вступил Третий. Буквы были высокими, узкими. Они не падали друг на друга, а наклонно бежали по строке.

Ни Третий, ни Вратарь ничего не собирались мне говорить, слишком они были поглощены своей жизнью.

– Послушай, ты, хоккеист...

– Да, – тут же отозвался вратарь. Ему было интересно, что же я скажу дальше. Теперь он читал написанное в тетрадах про себя.

– Я ненавижу литературу, – скривилась я. – И сами по себе эти тетради – ничто. Мне нужна история, которая стоит за ними, а не весь этот беспомощный бред и, уж поверь, не твои концерты на кухнях...

Он оторвался от чтения, так забавно ему было меня слушать. Третий грустил.

– Единственное, что имеет право на существование, – это живопись, – сказала я. – И иногда – кино. Но только тогда, когда оно повторяет живопись.

Я не знаю, зачем я все это говорила. Они смеялись надо мной.

– Жалко, – сказал вратарь. – Очень хорошие стихи. Значит, мы так и не узнаем, кто их написал...

И даже если бы я в ответ издевалась над ним, его бы не задело. Он предчувствовал своё будущее и жил только этими мыслями, и они распалили его.

Когда я уходила, вратарь зачарованно глядел в тетради:

- Кажется, я нашел, что полюбить.
- Что? – тихо спросил Третий.
- Ты так смотришь на меня, – засмеялся вратарь.
- Как? – Третий сглотнул, и его зрачки расширились.
- Как будто завтра будет слава...

И воздух разделил нас. Я даже не стала оборачиваться, все равно они уже исчезли. На выходе из магазина меня ждала Тень.

– Ты простила меня? – спросила она, и мне показалась, что она заскулила. Я внимательно взгляделась в неё – не смеется ли она надо мной. Её губы дёргались на заплаканном лице. – Простила? Да? Скажи... – и она кивала после каждого слова, пытаясь усилить его значимость.

– Да чего там! – махнула я рукой.

Вдох... Но я не успела выдохнуть. Кто-то ударил меня по лицу. Я открыла глаза: рассвет залил всё небо, подёрнутое чадом, – как будто бы вдруг стали видны горящие торфяные леса. Наступало утро. Чёрная стая ворон пересекла покрасневшее небо. Передо мной стоял Хромой. Он поднялся в шалаш по приставной лестнице, следом за ним лез его дружок в галифе и двое других.

– Тебя предупреждали, – сказал парень в галифе и тоже ударил меня по лицу.

Хромой тем временем вырвал из «Истории живописи» несколько репродукций и выбросил их из шалаша. Рассвет отливал золотом, но тут же подергивался дымом, и получалось, что утро пробивается сквозь чад. После парня в галифе в шалаш влезли двое других. Каждый из них подошел ко мне и ударил меня по лицу сильно, но беззлобно, только потому, что так же сделал Хромой. Они были очень молодые, ненамного старше меня. И все они были очень трусливы. Они сбились в стаю вокруг Хромого, думая, что все вместе – они сила.

– Да, цыпочка, ты попала, – сказал парень в галифе и приблизил ко мне своё плоское монголоидное лицо. – Ты что, ты не боишься, да?

Я промолчала.

– Она ещё, кажется, не поняла, как ей будет хорошо, – засмеялся Хромой.

– Тебе будет хорошо, цыпочка, – подхватил парень в галифе. – Если дёргаться не будешь, то, может быть, даже не больно.

И двое других засмеялись, потому что засмеялся Хромой. Они в точности копировали его действия.

– А она миленькая, – сказал Хромой и приподнял моё лицо за подбородок. – Все ещё не боишься, да?

У него были прокуренные гнилые зубы, и от этого тяжелое несвежее дыхание. «Мутное, – подумала я, – он дышит мутно...» – и отвернулась.

– Кажется, начала понимать, – сказал парень в галифе и задрал мне футболку.

Вместо того чтобы рассмеяться, все замолчали. Стало так тихо, что на какое-то мгновение я забыла о них. И хотя мои руки были совершенно свободны, я даже не стала опускать футболку...

Утро разливалось по небу, и небо захлебывалось краснотой в желтых подпалинах. Дым от пожаров медленно рассеивался, потому что дул западный ветер. Я всегда его чувствовала по запаху. Он нес свежесть, пахнущую водой. Стоило мне выйти на улицу, и я сразу же понимала – дует западный ветер, и я становилась особенно сильной. Ветер продувал мне грудь, открывшиеся плечи, я глубоко вдыхала его.

Я посмотрела на тех двоих, поднявшихся после парня в галифе в наш с Тенью шалаш. Они смотрели затравленно. Они жались друг к другу – и я поняла, – они боялись. Оба были худые, сутулые, с вытянутыми вперед длинными шеями и ломающимися сиплыми голосами. Они никогда не делали того, к чему привыкли Хромой и его приятель в галифе. Я сняла с себя майку и бросила им в лицо:

– Вы сами боитесь, грязные свиньи! – крикнула я. – Вы не люди, я же прекрасно знаю. Вы только прикидываетесь людьми... Я все видела про вас, тогда... тогда... – ярость захлёстывала меня, и я не могла говорить, я только хрипела.

Хромой не слушал. Он с ненавистью смотрел на меня.

– Ладно, хватит вить, – тихо сказал Хромой и достал выкидной нож. Я знала: сейчас он пырнет меня ножом, но он прошел мимо и рывком содрал со стены рисунок Тени. Он смял его, вытер лезвие ножа и сунул мне в лицо скомканный листок.

– Ты, погань, что это? – голос Хромого осип, он исходил не из горла, а откуда-то из утробы. А я видела перед собой только зрачки его впалых, как трещина, глаз.

– Это свиньи, – ответила я. – Стадо грязных свиней, приблизительно таких, как ты и твои недоумки. Они бросаются в воду, потому что им больше нет места на земле!

– Но сначала мы сбросим тебя, – сипло сказал Хромой. – Здесь, правда, невысоко, но ничего, тебе хватит... – и приставил нож к моему горлу.

– А я не так ценю эту жизнь, – сказала я, – чтобы за неё цепляться.

Дул западный ветер, и я была совершенно спокойна.

– А мы не будем тебя убивать, – усмехнулся парень в галифе. – Мы просто развлечёмся, ты не против, цыпочка?

И он сначала прижался ко мне, а потом заломил мне руки и повалил на пол. Он елозил на мне, пытаюсь расстегнуть мои джинсы. А Хромой пнул меня ногой в лицо и рассёк мне губу. Я думала, что он выбил мне зубы, но выплюнула только кровь.

– Что ты там ковыряешься, – спросил Хромой парня в галифе. – У тебе что, не стоит?

Он не ответил. Он часто дышал, вдавливаясь в меня, и всё возился с молнией на джинсах. Его плоское лицо покрылось испариной, и пот с него падал на меня. Я закрыла глаза, чтобы не видеть их.

– Ей уже хорошо, – прохрипел Хромой, и снова пнул меня, но никто не засмеялся. Они просто не успели.

– Всем на пол, – раздался новый голос. Я от крыла глаза и увидела дворника, который нашел меня в подвале полгода назад. – Всем на пол, суки, – крикнул он и икнул. Он был довольно пьян, но крепко держался на ногах. Он что-то прятал за спиной.

– Вали отсюда, – сипло сказал Хромой и пока зал ему нож. – А вы что стоите? Давайте мочите его, ну...

Парни у входа медленно двинулись к дворнику с двух сторон.

– Я же сказал – всем на пол, – тихо, но очень четко повторил дворник и достал из-за спины пистолет. – Я вас всех положу из этой пушки...

Хромой забился в угол, те двое легли на пол и замерли.

– Слезь с девки, – приказал дворник и пнул парня в галифе. Тот заскулил от боли и отполз в сторону. – Мы в Афгане ещё не таких клали... – и он нагнулся надо мной. – Ты не бойся, милая, это просто щенки.

– Свины, – поправила я, выплевывая кровь.

– Пусть свины, – спокойно сказал он. – Главное, ты не бойся...

Пьяная расслабленность его лица мгновенно исчезла, и в нём проступило что-то другое, очень древнее, ещё ужаснее того, что стояло за Хромым. Он снял с себя куртку и набросил на меня.

– Я в Афгане был, мы людей убивали только для того, чтобы не убили нас... А тут эти твои...

– Свины... – закончила я.

Хромой дернулся в углу, но тот быстро перевел на него пистолет:

– Пристрелю... – почти ласково сказал он, так, что мне стало жутко, – ты что, не веришь, что я бешеный?

И вдруг кто-то заплакал. Я посмотрела на вход. Все это время в шалаше стояла Жопа и смотрела на происходящее. Её никто не замечал, пока она в голос не зарыдала.

– Я так боялась за них обеих, – кричала она, растирая слезы по трясущемуся лицу. – Они ненавидели меня, а я боялась за них. Они же ничего не соображали обе. Лезли везде... Их могли убить! Убить! Такие они были... невыносимые! А когда эта вот, – и Жопа указала на меня, – осталась одна, она совсем очумела. Что ей в башку взбредет, то и творит...

– Да ладно тебе, – к дворнику вернулось его пьяное благодушие. – Я же ментов вызвал, и заметь... – он пьяно покачнулся, – я никого не убил... А эту, – и он указал на меня. – Я где то видел. Только не помню, где... я ж инвалид...

Жопу трясло:

– Я из-за них ночами не спала! А тут возвращаюсь под утро и смотрю – лежит в траве... – и она всем показала страницу, которую вырвал Хромой из моей книги: Нарцисс тянулся к своему отражению. – Я наступила на него и сразу же поняла, что вот она... – и Жопа указала на меня, – умирает...

– Слышишь, сирена воеет? – как мог, успокаивал дворник. – Сейчас менты приедут, сейчас...

– А откуда вы возвращались под утро? – неожиданно спросила я Жопу. Я думала: она засмеется.

Она закрыла от меня своё большое беспомощное лицо руками и тихо ответила:

– Мне страшно.

Неожиданно Хромой выбил ногами картонную стену шалаша и прыгнул вниз. Дворник выстрелил...

Стало совсем светло, и от чада остался легкий налёт, как будто бы где-то очень далеко, на другом конце ночи, все ещё горели костры.

...В лёгких вечерних сумерках я обнимала мёртвый ствол дерева. Была зима, но я почти не чувствовала холода. Я просто забыла о нём, и он меня отпустил.

Неподалеку от меня стояли два мужика в рабочих робах с электропилой. Весь день они спиливали уснувшие на зиму деревья во дворе. Чёрные, мокрые стволы падали на снег и безжизненно замирали. Одно из деревьев упало совсем близко от меня и мягко задело мои ноги распротёртыми надломленными ветками. Мужики в робах закричали, но я не ответила и даже не двинулась с места. Сейчас они остановились перекурить. Один протягивал другому Зирровскую зажигалку, но отмокшие сигареты не загорались.

Двор, заваленный мёртвыми деревьями, спиленными во сне, стал маленьким. Между упавшими деревьями остались узкие дорожки, по которым едва мог пройти человек.

– Ну ладно, хватит... – сказал один из мужиков, и оба они подошли ко мне. – Вали отсюда. Нам работать надо...

Единственное оставшееся нетронутым дерево было то, возле которого стояла я, но оно высохло несколько лет назад, и сейчас возвышалось над своими срубленными братьями.

– Вали, – сказал другой, – вся посинела уже от мороза, а все не уходишь...

И они вплотную подошли ко мне. Я не стала смотреть в их лица, я прекрасно знала, что я увижу.

Уходя, я слышала рёв электропилы, а потом на примятый снег, тяжело вздохнув, рухнуло дерево, но я и тогда не обернулась.

У метро толпились панки и бомжи из перехода. Несколько музыкантов, я знала их, сидели на ступенях и пили пиво. Когда я прошла, толпа расступилась. Многие смотрели мне вслед, но никто не произнёс ни слова.

Я прошла по эскалатору вниз, глубоко под землю, а мой город, охваченный зимой, был настолько тяжел, что не мог подняться в воздух, и поэтому воздух окутал его.

Я шла по пустым вагонам поезда. В первом вагоне сидело несколько пассажиров. Они пытались не смотреть на меня. Они тихо переговаривались. Их слова были редкими и скудными. «И тусклыми, – подумала я, – как вкус сигарет, которые курил отец Тени».

Девушка на сиденье склонилась к юноше и что-то тихо ему сказала. Она выглядела года на три старше, и может быть, даже была немного выше ростом. Он ещё не успел её перерасти. Он поднял своё детское лицо с темными кругами теней. Он не выспался по утрам и пытался не спать ночью.

– Я научилась не смотреть на тебя, – говорила ему девушка, – а только скользить по тебе взглядом, слегка прикасаясь глазами к твоему лицу.

Он ясно посмотрел на неё, поборов оцепенение. Она отвоевала его у сна.

Все это мне что то напоминало – их скудные слова, то, как они сидели или обменивались взглядами, – но я никак не могла вспомнить, что именно. Воспоминание подступало и тут же рассеивалось. Не успев проявиться, оно успевало измучить... Я вышла в «Охотном ряду». Станция была пуста. Где-то наверху догорала Москва, окутанная дымом пожара. В переходе на «Площади революции» лицом к стене стоял панк. Его куртка была перемазана краской и грязью. Его качало, и чтобы не упасть, он придерживался за стену. Его рвало или он мочился прямо у кафельной стены перехода. У него были светлые волосы, слипшиеся от грязи. Они застыли коростой. Я отвернулась, чтобы не видеть его, и как можно быстрее попыталась пройти мимо. Но как только я поравнялась с ним, он отступил от стены и резко повернулся ко мне. Его лицо просияло, как вспышка тысячи взорвавшихся солнц... В руках он держал баллончик с краской. По светло-желтым кафельным плиткам шла надпись красными, горящими буквами: «**Язык мой – трость книжника скорописца...**»<sup>24</sup> Его слова обжигали.

Вернувшись домой, я уже знала, что нужно делать. (Дверь в мою квартиру оказалась не заперта, я забыла её закрыть, когда среди ночи побежала ко Второму.)

На подоконнике стояли два макета. Первый макет изображал площадь перед «Арбатской», маленькие магазины и ночные кафе, и два подземных перехода, в которых когда то играли музыканты. Я думала, что увижу выгоревшие дома, но они были только слегка подернуты сумерками на ступающей ночи.

Но второй макет изображал сад, и я разглядела его...

<sup>24</sup> Псалтирь. Псалом 44. Песнь о Возлюбленном.

Сад был раскинут на холмах и спускался в низину. От сада поднималось тонкое зеленоватое сияние, но в этот раз оно имело запах и вкус. Оно разлилось по всей моей комнате, и я оказалась в нем. Оно лилось, как тихая мелодия, мотив которой звучит в каждом из нас, но мы не слышим его. Больше всего на свете мне захотелось спуститься в этот сад.

Я знала, что не была этого достойна, но свечение раздвинулось, выпуская меня. Я стояла на холмах, вершины которых выступали над туманом, и получалось, что у моих ног плещется молоко. В небе показались молодые светила – солнце и луна, окруженная звездами. Они только что были созданы, и от них лился мягкий ласковый свет. И когда солнечный свет смешивался со светом луны и звёзд, появлялось зеленоватое свечение, окутывающее землю. Прямо у меня под ногами начала расти трава, она выбилась из-под земли и тут же затянула землю повсюду, куда только хватало глаз, а потом появились первые кусты и деревья. Туман постепенно оседал на дно, в низину, пока не рассеялся совсем. Я спускалась по холмам, а вокруг меня прорастали все новые и новые растения.

Я прекрасно знала каждое из них, и тут же понимала, что они на моих глазах в самый первый раз показываются на свет.

Я вспомнила увиденный мной однажды сад монахов бенедиктинцев, раскинутый на берегу Северного моря. Снизу прохладная вода билась о скалы, и когда волны отступали, на камнях оставались горькие от соли клочья пены. А наверху перед входом в монастырь цвели все растения, упоминающиеся в Библии. Они были посажены по порядку их появления на страницах, и я сразу же поняла: я в библейском саду.

Я спускалась в лощину между холмами, но туман оседал ещё быстрее, он уже плескался на самом её дне, как вспененные облака, и мокрая, отяжелевшая от росы трава сгибалась под моими шагами и тут же выпрямлялась, стоило мне пройти. По этой траве никто не проходил до меня, почувствовала я. И тут же ещё более глубокое понимание, которое всегда жило со мной, но никак не могло пробиться, подступило ко мне, ведь ни одно из моих воспоминаний больше не мешало ему. Сад, по которому я шла, был настоящим, изначальным – тем самым, который много раз пытались повторить на земле, но выходила только размытая тень – как та, прошлая жизнь, была только тенью настоящей...

– Новорождённая земля! – поразила я.

И тут же меня кто то поправил:

– Новосотворённая...

Я много раз слышала этот голос, но сейчас никак не могла вспомнить, кому же он принадлежал. Я попала в четвертый день творения, когда уже были созданы земля и небо, и светила, когда уже только-только появились растения, но ещё не было ни животных, ни человека. Одни только ангелы смотрели со звёзд, как появляется новое творение, ради которого им предстояло жить.

Спуск с холмов закончился, когда я ступила в лощину, туман рассеялся. Я стояла на берегу моря, и его берег весь был засажен деревьями. С одной стороны моря по-прежнему светило солнце, а с другой – сияла луна, но вода не отражала ничего, кроме Вселенной.

Миллионы, миллиарды звёзд сияли на её темной поверхности, и с каждой смотрел ангельский лик...

Я сразу же её узнала – она сидела на берегу под одним из деревьев.

– Так это ты? – поразила я и подошла к ней. Я твёрдо знала – теперь она не исчезнет.

– Я, – ответила она.

– И это твой голос я слышала только что?

– Мой... – и она повернулась ко мне.

И тут я рассмотрела её лицо.

– Ты можешь задать мне три вопроса, и я отвечу тебе на них...

Я узнавала её голос, теперь он беспрепятственно долетал до меня, ведь больше между нами ни чего не стояло. Её голос был порождён зеленоватым свечением, он был его продолжением, превратившимся в звук.

– Кто ты? – спросила я.

– Я не могу тебе этого сказать, – ответила она. – Ты просто не вместишь. Это знание больше тебя...

Мы молчали. Тёмный океан бесконечности плескался у наших ног, и, кроме его плеска, не было слышно ничего.

– Думай, – наконец сказал она. – У тебя осталось два вопроса...

Я стояла у самого края воды и не видела своего отражения.

– Что ты чувствуешь? – спросила я.

– Я чувствую абсолютную свободу...

Её голос был бесстрастным, такого голоса просто не могло быть у человека.

Я поразилась:

– Почему?

Она спокойно смотрела на меня и видела то, о чем я только смутно догадывалась.

– Потому что меня не было никогда...